

Николай Добролюбов

# Забитые люди



Николай Александрович Добролюбов

## Забитые люди

«...Появление «Бедных людей» было встречено величайшим восторгом всей литературной партии, признавшей Гоголя; Белинский провозгласил, что хотя г. Достоевский и многим обязан Гоголю, как Лермонтов Пушкину, – но что тем не менее он – сам по себе, вовсе не подражатель Гоголя, а талант самобытный и громадный. Он начал так, прибавлял Белинский, как не начинал еще ни один из русских писателей. Мало того, – Белинский пророчествовал таким образом: «Талант г. Достоевского принадлежит к разряду тех, которые постигаются и признаются не вдруг. Много, в продолжение его поприща, явится талантов, которых будут противопоставлять ему, но кончится тем, что о них забудут именно в то время, когда он достигнет апогея своей славы»...»

# Содержание

I.....	.0005
II.....	.0049
Примечания.....	0131

# **Николай Александрович Добролюбов Забитые люди**

(Сочинения Ф. М. Достоевского. Два тома. Москва, 1860 г.

«Униженные и оскорбленные», роман в 4-х частях Ф. М. Достоевского. «Время», 1861 г., № I–VII)

«Опять о забытых личностях! Мало еще было толковано о них в «Темном царстве», мало вообще надоедал ими «Современник» в своем критическом отделе! И ведь пришла же человеку в голову безобразная мысль – превратить дело художественной критики в патологические этюды о русском обществе...{1} Вот хоть бы теперь на очереди стоит чрезвычайно важный для искусства вопрос о сущности и степени творческого таланта одного из замечательнейших деятелей нашей литературы, вопрос тем более интересный, что о нем, в течение пятнадцати лет, были высказаны самые разнообразные мнения. Появление «Бедных людей» было встречено величайшим восторгом всей литературной партии, признавшей Гоголя; Белинский провозгласил, что хотя г. Достоевский и многим обязан Гоголю, как Лермонтов Пушкину, – но что тем не менее он – сам по себе, вовсе не подражатель Гоголя, а талант самобытный и громадный. Он начал так, прибавлял Белинский, как не начинал еще ни один из русских

писателей. Мало того, – Белинский пророчествовал таким образом: «Талант г. Достоевского принадлежит к разряду тех, которые постигаются и признаются не вдруг. Много, в продолжение его поприща, явится талантов, которых будут противопоставлять ему, но кончится тем, что о них забудут именно в то время, когда он достигнет апогея своей славы» («Отечественные записки», 1846, № III, стр. 20){2}. Это было писано еще в то время, когда в ходу были повести гг. Соллогуба, Луганского, Гребенки и т. п.; г. Гончаров еще не появлялся тогда с «Обыкновенной историей»; гг. Тургенев и Григорович едва напечатали несколько незначительных рассказов; об Островском, Писемском, Толстом и других, впоследствии прославившихся писателях, не было еще ни слуху ни духу. Прошло с тех пор еще три года: новые писатели возникали и приобретали себе почетную известность; г. Достоевский все продолжал писать, и ни одно из его новых произведений не сравнилось с первою его повестью. В половине 1849 года литературная деятельность его прекратилась {3}, и литература не выразила при этом осо-

бренных сожалений. Если в течение десятилетнего молчания г. Достоевского иногда и вспоминали о нем, то разве затем, чтобы посмеяться над собственным простодушием, с которым производили его в гении за первую повесть, и о непомерном самолюбии, до которого довело его общее поклонение. Но два года тому назад г. Достоевский снова появился в литературе, хотя имя его было уже слишком бледно пред новыми светилами, загоревшимися на горизонте русской словесности в последнее десятилетие. В эти два года он напечатал четыре больших произведения, и об них еще не произнесен беспристрастный суд критики{4}. Теперь именно и предстоит для критика задача – определить, насколько развился и возмужал талант г. Достоевского, какие эстетические особенности представляет он в сравнении с новыми писателями, которых еще не могла иметь в виду критика Белинского, какими недостатками и красотами отличаются его новые произведения и на какое действительно место ставят они его в ряду таких писателей, как гг. Гончаров, Тургенев, Григорович, Толстой и пр. Критику пред-

стоит художественный вопрос, существенно важный для истории нашей литературы, – а он собирается толковать о забытых людях – предмете даже вовсе не эстетическом».

Всякий раз, как я начинаю писать критическую статью, меня начинают осаждать требования и возгласы подобного рода. По мнению одного критика, мне от них нет другого спасения, как признаться откровенно, что решение вопросов подобной важности – мне не под силу{5}. Я бы, пожалуй, и готов признаться; но ведь это, во-первых, для самолюбия обидно, а во-вторых – зачем же мне клепать на себя? Разумеется, критика должна служить приложением вечных законов искусства к частному произведению, должна, как в зеркале, представить достоинства и недостатки автора, указать ему верный путь, а читателям – места, которыми они должны или не должны восхищаться. Такова ведь должна быть настоящая критика? Да, но знаете ли, что чистая теория критики так же точно неприложима бывает, как и теория о том, как сделаться богатым и счастливым или как приобрести любовь женщин. Еще ежели по-

падет такая теория на человека, имеющего все шансы нравиться женщинам, ежели придется теория богатства и счастья по человеку умеренному, аккуратному, искательному и ловкому, – так, пожалуй, будет и на дело похоже: у такого человека есть залогов на счастье и богатство, приближающие его к принципам книжной теории. А что, как эта мораль из прописей, предлагаемая под видом «руководства к счастливой и богатой жизни» и состоящая в том, что «будь бережлив», «никогда не давай воли своим страстям», «довольствуйся малым», «сноси терпеливо все оскорбления от тех, – от кого находишься в зависимости», и пр. и т. п., – что, ежели эта мораль будет применяема к натуре горячей, расточительной, беспокойной? Ведь не стоит тогда и изучать теорию счастья, точно так, как не стоит робкому и безобразному старцу заниматься изучением «искусства нравиться женщинам», когда там на первом плане стоят развязность, молодость и благообразие, ежели уже не красота. То же самое и с критикой: хорошо, если вам попадается произведение, приближающееся хоть сколько-нибудь к иде-

альным требованиям, имеющее какие-нибудь шансы «быть долговечным и счастливым», то есть составить собою что-нибудь самобытное, замечательное не по отношению к каким-нибудь другим интересам, а по своему внутреннему достоинству. Тогда можно и с эстетической точки зрения заняться им, можно и в художественные тонкости пуститься и все пятнышки в нем проследить. Да это делается тогда само собою, по тому же невольному чувству, по которому вы хлопчете, чтобы прекрасной картине дано было хорошее освещение, и невольно делаете движение, чтобы согнать севшую на нее муху... Но подымать вечные законы искусства, толковать о художественных красотах по поводу созданий современных русских повествователей – это (да простят мне г. Анненков и все его последователи!) так же смешно, как развивать теорию генерал-баса в поощрение тапера, не сбивающегося с такта, или пуститься в изложение математической теории вероятностей по поводу ошибки ученика, неверно решившего уравнение первой степени.

Для людей, которые все уткнулись в «свою

литературу», для которых нет других событий общественной жизни, кроме выхода новой книжки журнала, действительно должен казаться громадно-важным их муравейник. Зная только отвлеченные теории искусства (имевшие, впрочем, когда-то свое жизненное значение) да занимаясь сравнением повестей г. Тургенева, например, с повестями г. Шишкина или романов г. Гончарова с романами г. Карновича{6}, – точно, не мудрено прийти в пафос и воскликнуть:

*Такой-то муравей был силы непомерной...{7}*

Но поверьте, что только праздные люди могут толпиться около этого муравья и по целым часам любоваться, как он показывает свою силу.

У большинства людей есть свои занятия, и если им любопытно подчас видеть проявление силы, то уж не такой же.

Я бы хотел здесь поговорить о размерах силы, проявляющейся в современной русской беллетристике, но это завело бы слишком далеко... Лучше уж до другого раза. Предмет

этот никогда не уйдет. А теперь обращусь собственно к г. Достоевскому и главное – к его последнему роману, чтобы спросить читателей: забавно было бы или нет заниматься эстетическим разбором такого произведения?

Роман г. Достоевского очень недурен, до того недурен, что едва ли не его только и читали с удовольствием, чуть ли не о нем только и говорили с полной похвалою... Явился было ему соперник в «Чужом имени» г. Ахшарумова, но со второй же части, говорят, обнаружилась в этом романе такая неблагоприятная пошлость во вкусе романов Полевого, что читатели бросили роман недочитанным. «Бедные дворяне» г. Потехина тоже, говорят, остались далеко позади «Униженных и оскорбленных». Словом сказать, роман г. Достоевского до сих пор представляет лучшее литературное явление нынешнего года. А попробуйте применить к нему правила строго художественной критики!

Большая часть наших читателей, конечно, знает содержание «Униженных и оскорбленных». Поэтому постараюсь изложить главные черты романа в самых коротких словах.

Расказ веден от лица Ивана Петровича, «неудавшегося литератора». Герой романа – князь Валковский. Иван Петрович воспитан у помещика Ихменева, который вместе с тем управляет и соседним имением князя Валковского. Валковский очень доверяет Ихменеву и даже посылает к нему под надзор в деревню 19-летнего сына своего Алешу, накутившего что-то в Петербурге. Но через год князь приехал в имение, поссорился с Ихменевым, – по наговорам, будто тот интриговал, чтобы женить Алешу на своей 17-летней дочери, Наташе, – отнял у него управление имением, сделал на него начет и завел процесс. Для «хождения по делу» Ихменев переехал в Петербург. Вот завязка романа.

В Петербурге Ихменевы встретили Ивана Петровича: он страстно влюбился в Наташу, она в него, они объяснились между собою и с родителями, получили радостное согласие и совет – подождать годик, пока Иван Петрович заработает себе что-нибудь побольше теперешнего. Но между тем Алеша тоже начал бывать у Ихменевых, тайком от отца; старики его принимали ласково, потому что он и в 21

год был милым и незлобным ребенком. Он влюбился в Наташу, а Наташа в него, – да так, что в один прекрасный вечер бежала к нему из дома родительского. Иван Петрович все это знал, всему помогал, переносил вести от дочери к родителям, от родителей к дочери и пр. Но вскоре деятельность его раздвояется: он поселился в квартире одного старика, умершего на его руках; к старику ходила внучка, девочка лет 13, Нелли; явилась она и к Ивану Петровичу, но, не нашед дедушки, тотчас убежала. Иван Петрович успел ее выследить, спас ее от развратной женщины, которая уже продала было ее какому-то кутиле, и поселил у себя. С этих пор Иван Петрович мечется беспрестанно от Нелли к Наташе и от Наташи к Нелли. Между тем князь Валковский, видя, что сын не отстаёт от Наташи, выдумал остроумное средство: приехал к Наташе и при нем же попросил ее согласия на замужество с его сыном. Все были очень рады такому обороту дела, но ветреный Алеша, в котором только препятствия еще и поддерживали любовь, совсем теперь успокоился насчет Наташи, стал пропадать по несколько

дней, ездить по балам и уже без всякого принуждения знакомиться и сходиться с невестой, которую приготовил ему отец. Через несколько дней он, разумеется, влюбился в нее так же страстно, как и в Наташу, а еще через несколько дней убедился, что он ее любит более Наташи. Расчет князя-отца оказался верен; его скоро поняла и Наташа и очень энергически, как по писаному, все высказала князю. Князь обиделся и зато через несколько дней весьма цинически и с приправою разных оскорблений высказал то же самое, то есть признался во всех своих расчетах Ивану Петровичу. Между прочим, приехав к нему в квартиру, князь увидал Нелли, и она была им страшно испугана и сделалась больна. Иван Петрович опять в хлопотах: тут больная, там идет к развязке; отец Алеши хочет женить его, невеста его, Катя, хочет познакомиться с Наташей, чтобы попросить у нее прощения и согласия; отец Наташи горячится из-за дочери и – то ее проклиняет, то хочет вызвать князя на дуэль; мать рвется к дочери, сама Наташа еле на ногах держится. Наконец все устроивается: Алеша уезжает в деревню вме-

сте с Катей и ее семейством, Наташа решает-ся идти к родителям. Чтобы смягчить отца и приготовить его к прощению, употребляют орудием маленькую Нелли, заставляя ее рассказывать ему свою историю, или, лучше сказать, историю ее матери. Дело состоит в том, что мать Нелли была обольщена одним господином, убежала от отца, была им проклята, потом ограблена и брошена своим любовником и умерла в сыром углу от чахотки и голода, напрасно вымаливая прощение у отца. Рассказ, точно, производит сильное впечатление, так что Ихменев решается идти к Наташе. Но это оказывается решительно не нужно: Наташа сама прибежала к родителям и, разумеется, встречена была с распростертыми объятиями. Вслед за тем, при посредстве приятеля Ивана Петровича, ходока Маслобоева, открылось, что Нелли – дочь князя Валковского, что обольститель ее матери был именно он и что – мало того – он был женат на матери Нелли законным образом. Но улик законных против князя не было, и нельзя было предпринять против него никаких мер. Алеша, разумеется, женился на Кате. Униженные

и оскорбленные так и остались неотомщенными. Нелли скоро затем умерла; а Наташа с родителями отправилась в провинцию, где старик Ихменев выхлопотал себе какое-то место, проиграв окончательно свой процесс с князем и лишившись своей последней деревеньки Ихменевки.

В романе очень много живых, хорошо отделанных частных, герой романа хоть и метит в мелодраму, но по местам выходит недурен, характер маленькой Нелли обрисован положительно хорошо, очень живо и натурально очеркнут также и характер старика Ихменева. Все это дает право роману на внимание публики, при общей бедности хороших повестей в настоящее время. Но все это еще не возвышает его настолько, чтобы применять общие художественные требования ко всем его частностям и сделать его предметом подробного эстетического разбора.

Возьмите, например, хоть самый прием автора: историю любви и страданий Наташи с Алешей рассказывает нам человек, сам страстно в нее влюбленный и решившийся пожертвовать собою для ее счастья. Я призна-

юсь, – все эти господа, доводящие свое душевное величие до того, чтобы зазнамо целоваться с любовником своей невесты и быть у него на побегушках, мне вовсе не нравятся. Они или вовсе не любили или любили головою только, и выдумать их в литературе могли только творцы, более знакомые с головою, нежели с сердечною любовью. Если же эти романтические самоотверженцы точно любили, то какие же должны быть у них тряпичные сердца, какие куричьи чувства! А этих людей показывали еще нам, как идеал чего-то! Первый, сколько помнится, устроил подобную комбинацию любовного самоотвержения г. Тургенев и недавно повторил ее в «Накануне», имея, впрочем, на этот раз осторожность дать понять читателю, что Берснев еще сам не отдавал себе ясного отчета в своих чувствах к Елене, когда понадобилось его содействие Инсарову. Г. Достоевский тоже не в первый раз берет такого героя; его уж мы видели в мечтателе «Белых ночей». Но то была шутка в сравнении с нынешним его романом. Теперь мы видим умного, благородного и развитого человека, который тоже попал в

такую комбинацию и собирается нам рассказать об этом. Как бы мы ни смотрели на нравственное достоинство его подвига, но нам любопытно следить за ним в его рассказе. Из всех униженных и оскорбленных в романе – он унижен и оскорблен едва ли не более всех; представить, как в его душе отражались эти оскорбления, что он выстрадал, смотря на погибающую любовь свою, с какими мыслями и чувствами принимался он помогать мальчишке-обольстителю своей невесты, какие бесконечные вариации любви, ревности, гордости, сострадания, отращения, ненависти разыгрывались в его сердце, что чувствовал он, когда видел приближение разрыва между своей невестой и ее любовником, – представить все это в живом подлинном рассказе самого оскорбленного человека, – эта задача смелая, требующая огромного таланта для ее удовлетворительного исполнения. Одной неудачной попыткой на разъяснение одной частицы такой задачи Эрнест Федо сразу приобрел себе европейскую известность и массу поклонников{9}. Что же, если бы мы нашли хорошее, поэтическое решение *всей* задачи!

Кроме того, что у нас было бы художественное целое, — нам разъяснился бы целый ряд характеров, целый ряд нравственных явлений, мы знали бы, как нам судить об этих кроткосердных героях и какую цену приписывать их гуманному обезличению себя, так как мы знаем теперь, например после комедий Островского, как нам смотреть на патриархальную размашистость русской природы.

Г. Достоевский известен любовью к рисованию психологических тонкостей. Мнение о его, кажется, «Двойнике», что это «собственно, не повесть, а психологическое развитие», подало даже повод к одному очень известному анекдоту. Потому можно было надеяться, что г. Достоевский именно нападет на ту идею, о которой я говорил. Тогда бы, разумеется, мог быть толк и в художественности исполнения. Но на самом деле вы в романе не только слабого изображения внутреннего состояния Ивана Петровича не находите, но даже не видите ни малейшего намека на то, чтобы автор об этом заботился. Напротив, он избегает всего, где бы могла раскрыться душа человека любящего, ревнующего, страдающе-

го. Пять месяцев, в которые Алеша успел прельстить Наташу и увлек ее за собою, – не удостоены и пяти строчек. Первые полгода жизни Алеши с Наташей пропущены почти без всяких объяснений. Действие романа продолжается какой-нибудь месяц, и тут Иван Петрович непрерывно на побегушках, так что ему наконец раза два делается дурно и он чуть не схватывает горячку. Но вот и все; что именно у него на душе, мы этого не знаем, хотя и видим, что ему нехорошо. Словом, перед нами не страстно влюбленный, до самопожертвования любящий человек, рассказывающий о заблуждениях и страданиях своей милой, об оскорблениях, нанесенных его сердцу, о поругании его святыни; перед нами просто автор, неловко взявший известную форму рассказа, не подумав о том, какие она на него налагает обязанности. Оттого тон рассказа решительно фальшивый, сочиненный; и сам рассказчик, который по сущности дела должен бы быть действующим лицом, является нам чем-то вроде наперсника старинных трагедий. К нему приходит отец Наташи – сообщить о своих намерениях, за ним присыла-

ет ее мать – расспросить о Наташе, его зовет к себе Наташа, чтобы излить пред ним свое сердце, к нему обращается Алеша – высказать свою любовь, ветреность и раскаяние, с ним знакомится Катя, невеста Алеши, чтобы поговорить с ним о любви Алеши к Наташе, ему попадается Нелли, чтобы выказать свой характер, и Маслобоев, чтобы разузнать и рассказать об отношениях Нелли к князю, наконец, сам князь везет его к Борелю и даже напивается там, чтобы высказать Ивану Петровичу всю гадость своего характера. А Иван Петрович все слушает и все записывает. Вот и все его участие в романе.

Если уже таково отношение к делу даже того самого лица, которое берется рассказывать нам о своем кровном деле, то нельзя ожидать, чтоб он сумел очень глубоко ввести нас в сердечную жизнь других действующих лиц. И точно – роман представляет нам kaleidoscope происшествий, которых случайными свидетелями можем мы сделаться на улице, в гостиной или на ином чердаке, и при этом представлении стоит некто, изъясняющий, что означают и почему выходят та-

кие-то и такие-то вещи. Завязка романа, например, основывается на любви Наташи к Алеше. Наташа представлена девушкой умною, серьезною, с хорошо развитым нравственным чувством, без особенных, и даже без всяких, чувственных поползновений. Алеша – мальчишка, уже в 21 год ветреный, цинический, лишенный всякой нравственной основы в характере до того, что он не конфузится никакой своей пакости, напротив – тотчас же сам о ней рассказывает, прибавляя, что знает, как это дурно, и вслед за тем опять повторяет ту же пакость. Думая похвалить его невинность, рассказчик говорит, между прочим: «Он не мог бы солгать, а если б и солгал, то вовсе не подозревая в этом дурного». Видите, это был наивный, милый ребенок, не ведающий разницы добра и зла, хотя и достигший 21 года, воспитанный в светском петербургском обществе, испытавший в нем кое-что и притом бывший сынком такого отца, как князь Валковский. Идеализируя характер Алеши (как и следует по правилам рыцарского великодушия, говоря о сопернике), рассказчик замечает, что он «мог бы сделать

и дурной поступок, принужденный чьим-нибудь сильным влиянием, но, сознав последствия такого поступка, умер бы от раскаяния». А через две страницы происходит сцена встречи Алеши с убежавшей из дому Наташей. Иван Петрович пробует напомнить ему: что, говорит, вы делаете, – какой страшный удар наносите ее отцу и матери и пр... Алеша отвечает: «Да, это ужасно... Я это и прежде говорил... Но что же делать? изменить нельзя»... А тут еще и изменять-то было нечего. И Алеша, вырвав дочь из семейства, не умер от раскаяния, да и потом, бросив Наташу и женившись на Кате, тоже не умер... Словом сказать, по описанию, это обаятельный, милый ребенок, только очень ветреный, а по ходу дела – это рано развращенный, эгоистический и пустой мальчишка, не имеющий никакого направления, никакого убеждения, поддающийся на минуту всякому постороннему влиянию, но постоянно верный только влечениям своих капризов и чувственности, которых он не умеет даже стыдиться. Трудно сказать, в чем заключается его обаятельность, чем он мог подействовать на умную и

серьезную девушку, как Наташа. Она краснеет за него, когда он начинает врать Ивану Петровичу разную чепуху в тот самый момент, как он встретил Наташу, чтобы увести ее к себе; она умоляет Ивана Петровича взглядом – не судить его строго... Ну, скажите, какое же увлечение, какая любовь при таких отношениях?

Но мало ли бывает аномалий, а г. Достоевский имеет, так сказать, привилегию на их изображение. От г. Голядкина до Фомы Фомича в «Селе Степанчикове» он изобразил на своем веку много болезненных, ненормальных явлений. Мог взяться и за изображение исключительной, ненатуральной любви Наташи к дряннейшему фату, который, по всеобщим ожиданиям здравого смысла, не мог не казаться ей противным. Положим даже, что самая ненормальность-то, странность подобных отношений и поразила художника и заставила его заняться их воспроизведением. Но ведь мы знаем, что художник – не пластинка для фотографии, отражающая только настоящий момент: тогда бы в художественных произведениях и жизни не было, и смыс-

ла не было. Художник дополняет отрывочность схваченного момента своим творческим чувством, обобщает в душе своей частные явления, создает одно стройное целое из разрозненных черт, находит живую связь и последовательность в бессвязных, по-видимому, явлениях, сливает и перерабатывает в общности своего мирозерцания разнообразные и противоречивые стороны живой действительности. Оттого истинный художник, совершая свое создание, имеет его в душе своей целым и полным, с началом и концом его, с его сокровенными пружинами и тайными последствиями, непонятными часто для логического мышления, но открывшимися вдохновенному взору художника. Такими именно истинный художник представляет свои создания и для других; они для всех делаются просты, понятны, законны. Вещи, самые чуждые для нас в нашей привычной жизни, кажутся нам близкими в создании художника: нам знакомы, как будто родственные, и мучительные искания Фауста, и сумасшествие Лира, и ожесточение Чайльд-Гарольда; читая их, мы до того подчиняемся творческой силе гения,

что находим в себе силы, даже из-под всей грязи и пошлости, обсыпавшей нас, просушить голову на свет и свежий воздух и сознать, что действительно создание поэта верно человеческой природе, что так должно быть, что иначе и быть не может... Разумеется, не все гении, и не от всех можно ожидать подобного эффекта, но все же до известной степени он есть и в каждом художественном произведении, и притом поэты с меньшим талантом обыкновенно являются публике с созданиями, в которых и идеи отразились сравнительно меньшей важности и обширности; но все же хоть что-нибудь, хоть в самых маленьких размерах, но отразилось что-нибудь полно и самобытно: иначе нечего искать в произведении и признаков художественного таланта{10}.

Так пусть бы в романе г. Достоевского отразилась в своей полноте хоть такая маленькая, миниатюрная задача жизни[1], как может смрадная козявка, подобная Алеше, внушить к себе любовь порядочной девушке. Разъясни нам автор хоть это, – мы бы готовы были проследить его рассказ шаг за шагом, и

вступить с ним в какие угодно художественные и психологические рассуждения. Но ведь и этого нет: пять месяцев, в которые возникла и дошла до своего страшного пароксизма любовная горячка Наташи, не удостоены ни одной страничкой. Сердце героини от нас скрыто, и автор, по-видимому, смыслит в его тайнах не больше нашего. Мы с доверием обращаемся к нему и спрашиваем: как же это могло случиться? А он отвечает: вот подите же – случилось, да и только. – Да, пожалуй, прибавит к этому: чрезвычайно странный случай... а впрочем, это бывает. – Не угодно ли искать художественного смысла в подобном произведении?

А потом, когда Наташа уже совершила свой странный шаг, нелепость которого она понимала еще раньше, потом – как она жила с Алешей? Какой процесс совершился в душе ее с первых дней этой новой жизни до того дня, когда мы в первый раз опять видим ее в разговоре с Иваном Петровичем и когда она высказывает решение, что с Алешей должна расстаться? Обо всем этом мы имеем несколько незначительных слов, брошенных мимо-

ходом в описание квартирной обстановки Наташи и ровно ничего не объясняющих... Как видно, не это интересовало автора, не тут было для него главное дело. В чем же? Разобрать трудно уже и потому, что действие романа странным и ненужным образом двоится между историей Наташи и историей маленькой Нелли, чем решительно нарушается стройность впечатления. Но как обе эти истории вертятся около князя Валковского, то можно полагать, что основу романа, зерно его, составляет именно воспроизведение характера этого князя. А всматриваясь в изображение этого характера, вы найдете с любовью обрисованное сплошное безобразие, собрание злодейских и цинических черт, но вы не найдете тут человеческого лица... Того примиряющего, разрешающего начала, которое так могуче действует в искусстве, ставя перед вами полного человека и заставляя проглядывать его человеческую природу сквозь все наплывные мерзости, – этого начала нет никаких следов в изображении личности князя. Оттого-то вы не можете ни почувствовать сожаления к этой личности, ни возненавидеть ее той выс-

шей ненавистью, которая направляется уже не против личности собственно, но против типа, против известного разряда явлений. И ведь хоть бы неудачно, хоть бы как-нибудь попробовал автор заглянуть в душу своего главного героя... Нет, ничего, ни попытки, ни намека... Как и что сделало князя таким, как он есть? Что его занимает и волнует серьезно? Чего он боится и чему наконец верит? А если ничему не верит, если у него душа совсем вынута, то каким образом и при каких обстоятельствах произошел этот любопытный процесс? Мы вправе требовать от автора объяснений на подобные вещи, даже не предъявляя на него особенно громадных претензий. Не говоря о гигантах поэзии, мы имеем даже у себя произведения, удовлетворяющие этим скромным требованиям: мы знаем, например, как Чичиков и Плюшкин дошли до своего настоящего характера, даже знаем отчасти, как обленился Илья Ильич Обломов... Но г. Достоевский этим требованием пренебрег совершенно. Как же после этого разбирать характер князя с эстетической точки зрения?

Да и вообще надо быть слишком наивным

и несведущим, чтобы серьезно и пространно, с доказательствами, выписками и примерами разбирать эстетическое значение романа, который даже в изложении своем обнаруживает отсутствие претензий на художественное значение. Во всем романе действующие лица говорят, как автор; они употребляют его любимые слова, его обороты; у них такой же склад фразы... Исключения чрезвычайно редки. Начиная с того, что все лица называют друг друга непременно голубчиком (исключая, может быть, князя), и оканчивая тем, что они все любят вертеться на одном и том же слове и тянуть фразу, как сам автор, – во всем виден сам сочинитель, а не лицо, которое говорило бы от себя. Можно бы обо всем этом долго толковать, если б мне не было скучно убеждать читателей в том, что для меня, в сущности, вовсе не интересно; можно бы сгруппировать несколько выписок, которые все вместе представляли бы нечто довольно комическое. Но от всего этого я хочу уволить себя. Приведу, пожалуй, одну только выписку, зато длинную, – это когда Наташа, понявши намерение князя, объясняет ему, что зна-

чило его сватовство. Сначала Наташа исторически излагает предшествовавшие обстоятельства до того вечера, когда Алеша объявил Кате, невесте своей, что любит Наташу. Затем она продолжает:

*Вы спросили себя в тот вечер: что теперь делать? Алеша во всем подчинится, но в этом уж ни за что не подчинится; вполне испытано. Мало того, чем больше его гнать, мучить, – тем больше в нем будет сопротивления; потому что он именно таков, как все слабые, но честные люди; не гоните их, не преследуйте, они и не подумают сопротивляться; а преследуйте, то вы сами же разожжете в них сопротивление, которое без вашего преследования им бы и в голову, может быть, не пришло. Соблазном тоже, оказалось, теперь нельзя взять: прежнее влияние еще слишком сильно, и вы только в этот вечер вполне догадались, как оно сильно. Что ж делать?*

*Вы и придумали:*

*Что, если прекратить над ним всякое преследование? Что, если снять с него то, чем тяготится теперь его сердце,*

снять то, что он считает своим долгом, обязанностью? Ведь, может быть, тогда в нем пройдет и жар и все влечение к этим обязанностям.

Вот, например, он любит теперь эту Наташу; чего ж лучше: сказать ему прямо, что не только он может теперь ее любить, но даже позволяется ему исполнить в отношении к ней все свои обязанности, все, чем он страдает за эту Наташу, и не только позволить, но даже как-нибудь обратить это позволение чуть не в приказ, сказать ему, что он должен на ней жениться, чаще твердить ему, что это его обязанность, – одним словом все, что он говорил сам себе каждый день свободно, от сердца, все это обратить теперь даже в принуждение. Ну, что тогда будет?

– Наталья Николаевна! – вскричал князь. – Все это одно расстройство вашего воображения, ваша мнительность; вы вне себя, вы преувеличиваете! – И князь с видом сожаления пожал плечами.

– Вот что тогда будет, – продолжала Наташа, как будто не обращая ни ма-

лейшего внимания на слова князя. – Во-первых, думали вы, я окончательно привлеку к себе его сердце, и он устыдится всякой недоверчивости ко мне; а это мне очень пригодится теперь! Первое впечатление будет, положим, невыгодно; он обрадуется. Он хоть и увлекается новой любовью; но ведь он сам еще не знает про эту новую любовь, он до сих пор еще думает и уверен, что по-прежнему, как полгода назад, с тем же жаром, с тою же страстью любит свою Наташу. Он хоть и привязался к Катерине Федоровне, но думает, что это только так: ему хорошо, весело с нею, – известно почему; да он и не спрашивает об этом! И хоть сердце каждый день влечет его все сильнее к новой любви, но он совершенно уверен, что там, в прежней любви, у Наташи, все по-старому и никаких нет перемен. Он потому еще обрадуется, что действительно до сих пор еще любит эту Наташу; ведь она друг его, он так привык к ней; он даже об своей Кате (с которой он теперь на ты) едет к ней, к первой, рассказывать; он столько раз видел ее страдания, и

столько сам страдал от ее страданий!.. И потому он обрадуется, положим так, да и пусть его; оно даже и хорошо: радость обновляет, через радость старое забывается; одно горе памятно: все это только на минуту; зато будущее выиграно...

Зато он, первый раз во все эти полгода, ляжет спать спокойно, с облегченным сердцем: оно уже не будет болеть за Наташу. Он не будет просыпаться во сне и с тоскою думать: «Как-то она? что-то она? чем это кончится? чем устроится?» Теперь все хорошо, и на другой же день он почувствует совсем неволью, без всякого расчета, что, слава богу, он уже не должник; теперь все устроилось, и она уже все получила, что он даже больше ей отдал, чем сама она думала; он отдаст ей всю свою будущность, и должна же она оценить это, тогда как до сих пор он должен был ценить все, чем жертвовала ему Наташа. Вот и легче на душе и дышится свободнее, и так невольно это все подумается, так без расчета, с таким добрым, теплым чувством! А вы смотрите да про себя думаете:

«Это все хорошо: несколько дней пройдет, и с ним случится то же самое, что бывает со всеми влюбленными скоро после свадьбы; препятствий нет, все достигнуто, и любовь сама собою охладевает; там наступает скука; там захочется нового; жизнь не любит покоя: сердцу хочется жить. А тут как нарочно новая любовь еще прежде началась; она уже есть, и изобретать ее не надобно».

– Романы, романы, – произнес князь вполголоса, как будто про себя, – удивление, мечтательность и чтение романов.

– Да, на этой-то новой любви вы все и основали, – продолжала Наташа, не слыхав и не обратив внимания на слова князя, вся в лихорадочном жару и все более и более увлекаясь, – и какие шансы для этой новой любви! Ведь она началась еще тогда, когда он еще не узнал всех совершенств этой девушки! В ту самую минуту, когда он в тот вечер открывается этой девушке, что он не может ее любить, потому что долг и другая любовь запрещают ему это, – эта девушка вдруг выказыва-

ет перед ним столько благородства, столько сочувствия к нему и к своей сопернице, столько сердечного прощения, что он, хоть и верил в ее красоту, но и не думал до этого мгновения, чтобы она была так прекрасна! Он и ко мне тогда приехал, – только и говорил что о ней; она слишком сильно поразила его. Да он на завтра же непременно должен был почувствовать неотразимую потребность увидеть опять это прекрасное существо, хоть из одной только благодарности. Да и почему ж к ней не ехать? Ведь та, прежняя, уже не страдает, судьба ее решена, ведь той целый век отдается, а тут одна какая-нибудь минутка... И что за неблагодарная была бы эта Наташа, если б она ревновала даже к этой минутке? И вот незаметно отнимается у этой Наташи, вместо минуты, день, другой, третий... А между тем в это время девушка высказывается перед ним в совершенно неожиданном, новом и своеобразном виде; она такая благородная энтузиастка, и в то же время она такой наивный ребенок, и в этом так сходна с ним ха-

рактором. Они клянутся друг другу в дружбе, в братстве, неразлучности на всю жизнь. Правда, они с любовью говорят между собой и о Наташе, но они хотят жить втроем, всегда. «В какие-нибудь пять-шесть часов разговора» вся душа его открывается для новых ощущений, и сердце его отдается все... Тут еще новые идеи, и причина их опять Катя. Он еще, может быть, не сейчас начинает сравнивать, думаете вы, но это неминуемо. Придет это время; он сравнит свою прежнюю любовь с своими новыми, свежими ощущениями; там все знакомое, всегдашнее; там так серьезны, требовательны; там его ревнуют, бранят; там слезы... А если и начинают с ним шалить, играть, то как будто не с ровней, а с ребенком... а главное: все такое прежнее, известное...

Силлогизмы Наташи поразительно верны, как будто она им в семинарии обучалась. Психологическая проницательность ее удивительна, постройка речи сделала бы честь любому оратору, даже из древних. Но, согласитесь, ведь очень заметно, что Наташа го-

ворит слогом г. Достоевского? И слог этот усвоен большею частью действующих лиц.

Надо еще заметить, что г. Достоевский (как весьма многие, впрочем, из наших литераторов) любит возвращаться к одним и тем же лицам по нескольку раз и пробовать с разных сторон те же характеры и положения. У него есть несколько любимых типов, например, тип рано развившегося, болезненного, самолюбивого ребенка, – и вот он возвращается к нему и в Неточке, и в Маленьком герое, и теперь в Нелли... Характер Нелли – тот же, что характер Кати в «Неточке», только обстановка их различна. Есть тип человека, от болезненного развития самолюбия и подозрительности доходящего до чрезвычайных уродств и даже до помешательства, и он дает нам г. Голядкина, музыканта Ефимова (в «Неточке»), Фому Фомича (в «Селе Степанчикове»). Есть тип циника, бездушного человека, лишь с энергией эгоизма и чувственности, – он его намечает в Быкове (в «Бедных людях»), неудачно принимается за него в «Хозяйке», не оканчивает в Петре Александровиче (в «Неточке») и, наконец, теперь раскрывает

вполне в князе Валковском (которого, кстати, – даже, и зовут тоже Петром Александровичем). К этому есть еще у г. Достоевского идеал какой-то девушки, который ему никак не удастся представить: Варенька Доброселова в «Бедных людях», Настенька в «Селе Степанчикове», Наташа в «Униженных и оскорбленных» – все это очень умные и добрые девушки, очень похожие на автора по своим понятиям и по манере говорить, но, в сущности, очень бесцветные. Автор умеет поместить их в очень интересную обстановку, но это и все, что для них он делает. Надо признаться, что даже Варенька Доброселова интересует нас более своими несчастиями и теми рассказами, которые г. Достоевский сочинил за нее, нежели сама по себе, просто как поэтическое создание.

Эта бедность и неопределенность образов, эта необходимость повторять самого себя, это неумение обработать каждый характер даже настолько, чтобы сообщить ему соответственный способ внешнего выражения, – все это, обнаруживая, с одной стороны, недостаток разнообразия в запасе наблюдений автора, с

другой стороны, прямо говорит против художественной полноты и цельности его созданий... И думаете ли вы, любители эстетики, что можно было бы помочь г. Достоевскому или оказать услугу искусству, сделавши doskonaльный – *detaille et raisonne*[2] – разбор художественных несовершенств и достоинств этого романиста? И неужели полагаете вы, что покамест литература имеет хоть малейшую возможность хоть издалика прислушиваться к общественным интересам и хоть неясным, кротким лепетом выразить свое к ним участие, – неужели думаете вы возбудить в ком-нибудь интерес даже самыми блестящими эстетическими этюдами по поводу... ну, да просто так, а *propos de bottes*[3], из-за появления новой драмы г. Потехина, нового отрывка г. Гончарова, нового романа г. Достоевского?.. Разве дождемся такого времени, когда литература опять разорвет уже решительно всякую (и теперь, правда, слишком слабую) связь с обществом и ограничена будет одними только собственными, домашними интересами, когда литераторы принуждены будут писать только о литераторах и только

для литераторов, – тогда, вероятно, с успехом будут повторяться и явления вроде мерзляковского разбора «Россиады» или вроде прекрасной статьи г. Боткина о Фете{11}. Но пока литература (то есть, собственно, изящная), не достигая действительно художественного значения, имеет по крайней мере практический смысл, дозвольте же придать несколько практический характер и самой критике.

Г. Достоевский, вероятно, не будет на меня сетовать, что я объявляю его роман, так сказать, «ниже эстетической критики». Я ведь имел в виду вообще современную нашу литературу и если проверил свою мысль несколькими беглыми замечаниями о его романе, так это потому, что он мне попался под руку. А если бы взять другие из творений, имевших у нас успех в последние годы, так многие из них оказались бы, может быть, еще более несостоятельными. Г. Достоевский по крайней мере, – как нам кажется, судя по некоторым местам его сочинений, – не имеет таких претензий, не придает себе такой важности, как другие. Он изобразил некоторые свои литературные отношения в записках Ивана

Петровича: я не считаю нескромным сказать это, потому что сам автор явно не хотел скрываться. Он с такими подробностями рассказывает там содержание «Бедных людей» как первой повести Ивана Петровича, – что нет возможности ошибиться. Так тут-то он, между прочим, сознается, что писал многое вследствие необходимости, писал к сроку, напечатывал по три с половиною печатных листа в два дня и две ночи; называет себя почтовой клячейю в литературе; смеется над критиком, уверявшим, что от его сочинений пахнет потом и что он их слишком обдeldывает[4]. Словом, г. Достоевский смотрит, по-видимому, на свои произведения, как мы все обыкновенные люди, – не как на несокрушимый памятник для потомства, а просто – как на журнальную работу. А уж известно, что такое журнальная работа: тут не до обработки, не до подробностей, не до строгости к себе в развитии мысли... Довольно того, что хоть кое-как успеешь бросить эту мысль на бумагу. Можно это сравнить вот с чем: вы поэт, в вас сейчас родилось чувство, вас поразило впечатление, которое вы можете изобразить великолепными сти-

хами. У вас уже мелькают в голове образы, готово несколько стихов, несколько метких выражений... Но вам мешают, от вас требуют немедленного отчета в вашем впечатлении, у вас, наконец, вовсе отнимают возможность предаться влечению вашего чувства и приискать для него живые звуки. Делать нечего, вы берете карандаш и записную книжку и набрасываете шероховатой прозой остов того прекрасного стихотворения, которое уже сложилось у вас в голове. Так поступает постоянно, в течение всей своей карьеры, журнальный работник. Человек, конечно, все-таки виден, – ведь и в остове стихотворения можно разобрать до некоторой степени, какого полета поэт мог написать его; уцелеют, пожалуй, и несколько удачных страниц, как внезапно сложившийся стих попадает в черновой набросок. Но в общем все это будет очень жалко. Одно лишь остается неизменным, при спешной ли работе, при многодумной ли проверке каждой страницы, – это общий характер убеждений человека, его воззрений на жизнь, его симпатий и антипатий. От торопливости в работе можно делать частные

ошибки, высказываться неясно или односторонне, впадать в мелкие противоречия и делать скачки, теряя нить строгих логических выводов. Но если бы кто противоречие общих убеждений и симпатий в своих сочинениях стал оправдывать спешностью работы, тот показал бы только что он не способен ни к каким убеждениям.

И вот почему, если мы обратимся от отвлеченных эстетических рассуждений к идеям и положениям, развиваемым у известного автора, то найдем самое лучшее средство к уразумению сущности его таланта. Тут уже мерка наших требований изменяется: автор может ничего не дать искусству, не сделать шага в истории литературы собственно и все-таки быть замечательным для нас по господствующему направлению и смыслу своих произведений. Пусть он и не удовлетворяет художественным требованиям, пусть он иной раз и промахнется, и выразится нехорошо: мы уж на это не обращаем внимания, мы все-таки готовы толковать о нем много и долго, если только для общества важен почему-нибудь смысл его произведений. Есть, конечно, писа-

тели, у которых ни для чего нет *своего глаза*, которые ни о чем не могут сказать *своих слов*; произведения таких господ – сплошная, гладкая, большею частью удобочитаемая пошлость, вроде обыкновенных газетных фельтонов, повестей г. Толбина или князя Кугушева, или стихотворений гг. Грекова, Апухтина и т. п. Говорить о них, точно, нечего. Есть другие, у которых отразится в голове какая-нибудь мизерная, давно ходячая, односторонняя или фальшивая идея, и они над нею трудятся: об этих можно иной раз и поговорить, смотря по удаче исполнения. Вот г. Колбасин, например, овладел идеею, что «все мужчины изменщики и истинной любви не понимают»: он и написал на эту тему с полдюжины повестей из быта всех европейских наций. Если кому кажется, что г. Колбасин повествует превосходно, тот может, пожалуй, говорить и о г. Колбасине, – как, мол, он хорошо проводит свою идею! У других писателей встречаются идеи не столько пошлые и маленькие, но зато более фальшивые. Вот, например, по мирозерцанию г. Писемского выходит, что русский человек ни в чем меры не знает, –

что ежели он не умирает с голоду, то пьянствует; если не под башмаком у жены, то колотит ее; если не видит себе ниоткуда ни пинка, ни плети, то бросается на всех, как зверь дикий; если взятки не берет, то норовит всякого в кандалы заковать за взятый гривенник. Ну, и об этом нужно поговорить, опять-таки если кому покажется, что в сочинениях г. Писемского идеи эти выходят уж очень убедительны.

Но есть другого рода писатели, интересные совсем другим образом. Это те, у которых художественное чутье, хотя бы даже и слабое, направлено здраво, в которых не только верно отражаются явления жизни, но которым доступен более или менее и общий таинственный смысл ее. Такие писатели становятся замечательными художниками, если их восприимчивость многообъемлюща, если, жизнь открывается им не в отдельных только явлениях, а во всем своем стройном течении, если чутки они не к одной только внешней стороне явлений, но и к их внутренней связи и последовательности. Тогда они создают что-нибудь прочно остающееся в литера-

туре и служат двигателями общественного сознания. Но и люди с более ограниченной восприимчивостью, с более слабым, только бы верным, чутьем, не проходят без следа и заслуживают внимания, если хоть одну черту разъяснили или даже только указали нам в этой жизни, которая у всех нас перед глазами, всех задевает собою и, однако же, так немногих наводит на серьезную думу, так немногими понимается.

В произведениях г. Достоевского мы находим одну общую черту, более или менее заметную во всем, что он писал: это боль о человеке, который признает себя не в силах или наконец даже не вправе быть человеком настоящим, полным, самостоятельным человеком, самим по себе. «Каждый человек должен быть человеком и относиться к другим, как человек к человеку», – вот идеал, сложившийся в душе автора помимо всяких условных и парциальных воззрений, по-видимому, даже помимо его собственной воли и сознания, как-то *a priori*[5], как что-то составляющее часть его собственной натуры. И между тем, вступая в жизнь и оглядываясь вокруг себя, он видит, что искания человека сохранить свою личность, остаться самим собою, никогда не удаются, и кто из ищущих не успеет рано умереть в чахотке или другой изнурительной болезни, тот в результате доходит только – или до ожесточения, нелюдимства, сумасшествия, или до простого, тихого отупения, заглушения в себе человеческой природы, до

искреннего признания себя чем-то. гораздо ниже человека. Есть много таких, которые даже как будто рождаются с этим последним сознанием, которых мысль о своем человеческом значении как будто никогда сроду не посещала. Это – точно существа другого мира, точно в них ничего нет общего с остальным человечеством... Что за причина такого перерождения, такой аномалии в человеческих отношениях? Как это происходит? Какими существенными чертами отличаются подобные явления? К каким результатам ведут они? Вот вопросы, на которые естественным и необходимым образом наводят читателя произведения г. Достоевского. Правда, разрешения всех предложенных вопросов у него нет; но если бы он их решил, то, конечно, и не стал бы писать о них повести. Литературное произведение искреннее, а не заказное, только тогда и возможно, когда первая основа и крайнее решение взятого факта составляет еще вопрос, разгадка которого занимает самого автора. Но у сильных талантов самый акт творчества так проникается всею глубиною жизненной правды, что иногда из простой

постановки фактов и отношений, сделанной художником, решение их вытекает само собой. У г. Достоевского не достало на это силы дарования, его рассказам нужны дополнения и комментарии. Но тем не менее вопрос у него поставлен, и никто из читателей не может сам избавиться от этого вопроса после прочтения его повестей. Самый тон каждой повести, мрачный, унылый, болезненный, так и вышибает из сердца раздражительный вопрос, так и подымает в вас какую-то нервную боль... Подобное впечатление очень не нравилось многим; один критик прямо обвинял г. Достоевского именно за мрачный колорит его повестей: критику, неизвестно почему, казалось, что русской литературе нужны рассказы веселенькие, грациозные, розовые {12}. Желание его исполнилось скоро: после отзыва его о г. Достоевском (в начале 1849 г.) действительно русская литература вдалась в рассказы великосветской жизни, из нравов древней Аркадии, перенесенной в Костромскую губернию, из сферы супружеских неприятностей во все времена и у всех народов, из круга образованных молодых людей, очень

много и неопределенно рассуждавших о возвышенных предметах... Много авторитетных имен (теперь – увы! – теряющих свое обаяние!) создано в этот недолгий промежуток, до тех пор, пока опять не завладел общим вниманием новый род литературы – обличительный. Прошел и этот род – еще скорее, чем род цигровских Гамлетов, пошехонских пастушек и подмосковных графинь, – и прошел не потому, чтобы представители его бедны были талантами, а потому, что с самого начала пошли они по ложной дороге. У одних по необходимости, вследствие внешних требований, а у других и наивно, простосердечно, – мирозерцание явилось чрезвычайно узким и односторонним; в чиновнике так и видели только чиновника; в беде, происшедшей от взяточничества городничего, так и видели только следствие его взяточничества; всякого станового изображали, как конечную цепь и крайнюю исходную точку существующих порядков. «Быть или не быть благоденствию в России» – это зависело от того, будет или не будет служить становым честный чиновник Фролов: на этой мысли была упас построена

целая комедия, не без успеха игравшаяся на Александрийском театре{13}. Никто, кажется, исключая г. Щедрина, не вздумал заглянуть в душу этих чиновников – злодеев и взяточников – да посмотреть на те отношения, в каких проходит их жизнь. Никто не приступил к рассказу об их подвигах с простою мыслью: «Бедный человек! Зачем же ты крадешь и грабишь? Ведь не родился же ты вором и грабителем, ведь не из особого же племени вышло, в самом деле, это так называемое *крапивное семя*»? Только у г. Щедрина и находим мы по местам подобные запросы, и зато он до сих пор остается не только выше всех своих сверстников по обличительной литературе, но и вообще выше многих из литераторов наших, увлекавших нашу публику рассказами с претензией на широкое понимание жизни. Но нельзя не видеть, что и у г. Щедрина «обличение» перетягивает. Ни в одном из «Губернских очерков» его не нашли мы в такой степени живого, до боли сердечной прочувствованного отношения к бедному человечеству, как в его «Запутанном деле», напечатанном 12 лет тому назад. Видно, что тогда были

другие годы, другие силы, другие идеалы. То было направление живое и действительное, направление истинно гуманическое, не сбитое и не расслабленное разными юридическими и экономическими сентенциями. Тогда к вопросу о том, отчего человек злится или ворует, относились так же, как и к вопросу, зачем он страдает и всего боится; с любовью и болью начинали приниматься за патологическое исследование подобных вопросов, и, если бы продолжалось это направление, оно, без сомнения, было бы плодотворнее всех, за ним последовавших. Ныне у нас решения просты: если люди воруют, значит – полиция плохо делает свое дело; если взятки берутся, значит – начальник колпак... и т. п. А тогда выходило иной раз: ворует человек оттого, что работы не нашел себе и с голоду умирал; взятки берет, чтоб пятнадцать душ семейства прокормить... Результаты, очень несходные в нравственном отношении: один будит в вас человеческое чувство и мужественную мысль, другой ведет вас в полицию и заставляет замирать на юридической форме.

Г. Достоевский в первом же своем произведении явился замечательным деятелем того направления, которое назвал я по преимуществу гуманическим. В «Бедных людях», написанных под свежим влиянием лучших сторон Гоголя и наиболее жизненных идей Белинского, г. Достоевский со всею энергией и свежестью молодого таланта принялся за анализ поразивших его аномалий нашей бедной действительности и в этом анализе умел выразить свой высоко гуманный идеал. Идеал этот не принадлежал ему исключительно и не им внесен в русскую литературу. В виде сентенций о том, как «самый презренный и даже преступный человек есть тем не менее брат наш» и т. п., – гуманический идеал проявлялся еще в нашей литературе конца прошлого столетия вследствие распространения у нас в то время идей и сочинений Руссо. Но эти привозные сентенции плохо тогда ладили с русской жизнью, и мало было людей, которые бы могли серьезно и глубоко ими проникнуться. Державин все воспевал ничтожество людей вообще и величие некоторых сановников в особенности; о правах же человеческих ду-

мал так мало, что умиленно восторгался тем, как ему —

*И знать, и мыслить позволяют!..*  
{14}

Про Карамзина, конечно, нечего и говорить: чтобы видеть, до какой степени сознание общих человеческих прав и интересов было ему чуждо, довольно перелистовать его «Письма русского путешественника», особенно из Франции. У Пушкина проявляется кое-где уважение к человеческой природе, к человеку, как человеку, но и то большею частью в эпикурейском смысле. Вообще же он был слишком мало серьезен, или, говоря словами эстетиков, слишком гармоничен в своей натуре для того, чтобы заниматься какими-нибудь аномалиями жизни. Он во всем видел только прекрасное и рисовал только поэтические стороны: прелесть роскошного пира, стройность колонн, идущих в битву, грандиозность падающей лавины, «благоухание словесного еля», пролившегося на него с какой-то «высоты духовной», и пр. и пр. Только Гоголь, да и то не вдруг, вносит в нашу лите-

ратуру гуманический элемент: в «Старосветских помещиках» выразился он уже очень ясно, но, как видно, важность его не вполне оценил тогда сам Гоголь: по крайней мере «Ревизор» обработан в этом отношении довольно слабо, что и подало повод некоторым называть всю комедию фарсом и все лица – карикатурами. Но чем далее, тем сильнее выказывалась у Гоголя гуманическая сторона его таланта, и даже вопреки своей воле, в ожидании светлых и чистых идеалов, он все изображал своим могучим словом «бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни»{15}. По этому-то пути направился и г. Достоевский.

В разных видах и случаях представил нам г. Достоевский недостаток уважения человека к самому себе и недостаток уважения к человеку других людей. Кажется бы, дело простое, – думается, когда читаешь эти повести, – человек родился, значит, должен жить, значит, имеет право на существование; это естественное право должно иметь и естественные условия для своего поддержания, то есть средства жизни. А так как эта потребность

средств есть потребность общая, то и удовлетворение ее должно быть одинаково общее, для всех, без подразделений, что вот, дескать, такие-то имеют право, а такие-то нет. Отрицать чье-нибудь право в этом случае значит отрицать самое право на жизнь. А если так, то в пределах естественных условий решительно всякий человек должен быть полным, самостоятельным человеком и, вступая в сложные комбинации общественных отношений, вносить туда вполне свою личность и, принимаясь за соответственную работу, хотя бы и самую ничтожную, тем не менее – никак не скрадывать, не уничтожать и не заглушать свои прямые человеческие права и требования. Кажется, ясно. А между тем – отчего же этот Макаар Алексеевич Девушкин «прячется, скрывается, трепещет», непрерывно стыдится за свою жизнь, «да вокруг себя смущенным взором поводит, да прислушивается к каждому слову» и единственное утешение находит в том, что он человек маленький, человек ничтожный? Отчего Горшков этот – «жалкий, хилой такой: коленки у него дрожат, руки дрожат, голова дрожит, робкий, бо-

ится всех, ходит стороночкой?» Отчего это отец Покровского, имеет такой вид, что «он чего-то как будто стыдится, что ему как будто самого себя совестно», и в разговорах с сыном – «приподымается немного со стула, отвечает тихо, подобострастно, почти с благоговением»? А отчего г. Голядкин в мучительных и бесплодных попытках «быть в своем праве» и «идти своей дорогой» – съезживается до последних уступок своего настоящего права и наконец, не выдержав в слабой голове своей идеи, что под его право все подкапываются, мешается в рассудке? Отчего также г. Прохарчин двадцать лет скряжничает и бедствует, все от мысли о необеспеченности и наконец от этой мысли захварывает и умирает? Отчего этот молодой чиновник Шумков считает себя извергом человечества и мешается на том, что его отдадут в солдаты за то, что он, увлекшись нежностями с невестой, не успел переписать к сроку порученной от его превосходительства бумаги, которая к тому же вовсе и не была срочною? Отчего маленькая Неточка так уничтожается перед Катей? Отчего Роستانев отрекается от своей воли перед Фомой

Фомичом и считает себя решительно недостойным любви Настеньки, своей гувернантки, которую страстно любит? Отчего Наташа теряет свою волю и рассудок и Иван Петрович почтительно сторонится пред вертопрахом Алешею? Отчего старик Ихменев, перенося всевозможные мучения отцовской любви, не хочет простить свою дочь, чтоб не показать вида уступки князю и его сыну? Отчего маленькая Нелли так дико принимает одолжение Ивана Петровича и идет собирать милостыню, чтобы на собранные деньги купить ему разбитую ею чашку? Где причина всех этих диких, поразительно странных людских отношений? В чем корень этого непонятого разлада между тем, что должно бы быть по естественному, разумному, порядку, и тем, что оказывается на деле?

Мы уже сказали, что прямого ответа на такие запросы не дает ни одно лицо, ни одна повесть г. Достоевского в отдельности. Чтобы найти ответ, мы должны группировать их и пояснять одни другими.

Люди, которых человеческое достоинство оскорблено, являются нам у г. Достоевского в

двух главных типах: кратком и ожесточенном. Первые не делают уже никакого протеста, склоняются под тяжестью своего положения и серьезно начинают уверять себя, что они – нуль, ничего, и что если его превосходителство заговорит с ними, то они должны считать себя счастливыми и благодетельствованными. Другие, напротив: видя, что их право, их законные требования, то, что им свято, с чем они в мир вошли, – попирается и не признается, они хотят разорвать со всем окружающим, сделаться чуждыми всему, быть достаточными самим для себя и ни от кого в мире не попросить и не принять ни услуги, ни братского чувства, ни доброго взгляда. Само собою понятно, что им не удастся выдерживать характер, и оттого они вечно недовольны собою, проклиная себя и других, задумывают самоубийство и т. п.

Между этими двумя крайностями стоит еще разрядец людей, которых можно, пожалуй, отнести скорее к первому типу: это люди, потерявшие широкое сознание своего человеческого права, но заменившие его какою-нибудь узенькою фикцией условного права,

утвердившиеся в этой фикции и бережно ее хранящие. При всяком случае, где подобные господа воображают, что их личное достоинство в опасности, они готовы повторять, например, что «я титулярный советник», «мне сам Василий Петрович руку подает», «меня штаб-офицерша Похлестова знает» и т. п. Это тоже люди трусливые, подозрительные, щепетильные, обидчивые донельзя и сами всех более несчастные своей обидчивостью.

Кто наблюдал в нашем обществе над тем, что называется «мелким людом», тот знает, что кроткие и покорившиеся люди тоже иногда бывают обидчивыми и щепетильными. Это зависит от отношений: пред начальником отделения помощник столоначальника – пас, смирился совершенно; но с другими помощниками он считает себя «в своем праве» и за это право держится ревниво и угрюмо. Последняя сторона развита г. Достоевским в «Двойнике», в котором много хороших мест погибло, к сожалению, в общей растянутости и неудачной фантастичности рассказа. Но мы покамест обратимся теперь к анализу первой черты – совершенного смирения и тупого

успокоения на своем положении, каково оно вышло.

Кажется, тут бы и говорить не о чем: человек убедился, что он глуп, или безобразен, или манер не имеет, – ну и ладно, и бросить эту материю... Что тут канитель-то тянуть! И еще ему же спокойнее: знает, что слеп, так и подсматривать нечего... Сиди да слушай, что другие скажут. И какой интерес – описывать то, как слепой не видит?..

Но вот в том-то и заслуга художника: он открывает, что слепой-то не совсем слеп; он находит в глупом-то человеке проблески самого ясного здравого смысла; в забитом, потерянном, обезличенном человеке он отыскивает и показывает нам живые, никогда незаглушимые стремления и потребности человеческой природы, вынимает в самой глубине души запрятанный протест личности против внешнего, насильственного давления и представляет его на наш суд и сочувствие. Такие открытия делает нам Гоголь в некоторых повестях своих; то же, только в несколько затейливой форме, находим мы в «Бедных людях» г. Достоевского и отчасти в других его пове-

СТЯХ.

Чиновник Деушкин, например, живет себе, дожил до седых волос, прослужил без малого тридцать лет тихо и скромно, ни о чем не задумываясь, ни на что не претендуя. «Что это вы пишете мне, – объясняется он с Варенькой, – про удобства, про покой и про разные разности? Маточка моя, я не брюзглив и не требователен, никогда лучше теперешнего не жил, так чего же на старости-то лет привередничать? Я сыт, одет, обут, да и куда нам затеи затевать! Не графского рода!.. Родитель был не из дворянского звания, и со всей-то семьей своей был беднее меня по доходу. – Я не неженка!» И точно, он не неженка: квартиру занимает за перегородкой в кухне, платит за нее по два целковых и утешается тем, что он «ото всех особнячком, помаленьку живет, втихомолочку живет!»... «Сыт я», – говорит, а за стол платит пять целковых в месяц; можно представить, какая тут сытость. Обут и одет он, – тоже соответственно, но все повторяет: «Я не ропщу и доволен, жалованья достаточно, вот уже несколько лет достаточно». Относительно своего умственного состо-

нения он тоже сознает, что он человек неученый, на медные деньги учился, и слога не имеет, и высоких материй понимать не может, а потому далеко и не лезет. С общественным своим положением он примирился отлично. Он дошел до таких выводов, успокоительных и резонных: «Всякое состояние определено всевышним на долю человеческую. Тому определено быть в генеральских эполетах, этому служить титулярным советником, такому-то повелевать, а такому-то повиноваться. Это уже по способности человека рассчитано; иной на одно способен, а другой на другое, а способности устроены самим богом». Утвердившись в таких целительных мыслях, Макар Алексеич вместе с тем совершенно теряет всякую опору внутри себя, в собственном рассудке и вышней, единственной мерею своих достоинств считает уже не собственное сознание, а мнение начальства и формальные отношения. Достоинства свои он описывает таким образом: «Состою я уже около 30 лет на службе, служу безукоризненно, поведения трезвого, в беспорядках никогда не замечен. Как гражданин, считаю себя *собствен-*

ным сознанием моим, как имеющего свои недостатки, но вместе с тем и добродетели. *Уважаем начальством, и сами его превосходительство мною довольны* (собственное-то сознание куда пошло!); и хотя еще они доселе не оказывали мне особенных знаков благо-расположения, но я знаю, что они довольны». Далее Макар Алексеич опять показывает, как сильно его собственное сознание: я, говорит, «в больших проступках и продерзостях никогда не замечен, чтобы этак против постановлений что-нибудь или в нарушении общественного спокойствия, – в этом я никогда не замечен, этого не было; *даже крестик выходил*»... Как видите, *крестик* составляет в некотором роде базис философии Макара Алексеича и самый высший, последний аргумент его. Он не лишен и амбиции, но она удовлетворяется тоже довольно легко; он раз, например, выпил неосторожно, дебошу наделал, по его словам, и после того пишет к Вареньке, утешая ее: «Вы, – говорит, – обо мне не беспокойтесь; спешу вам объявить, что амбиция моя мне всего дороже, и уведомляю вас, что *из начальства еще никто ничего не знает, да и не*

будет знать, так что они все будут питать ко мне уважение по-прежнему». Вообще Макара Алексеич до того дошел, что даже сапоги и шинель носит не для себя, а для других, в особенности же для его превосходительства, и чай пьет тоже больше для других, и все для других из амбиции. «По мне все равно, хоть бы и в трескучий мороз без шинели и без сапогов ходить – я перетерплю и все вынесу, мне ничего; человек-то я простой, маленький». Но «сапоги нужны для поддержки чести и доброго имени: в дырявых же сапогах и то и другое пропало». То есть как же пропало? А так, что «вдруг его превосходительство заметят и невзначай как-нибудь отнесутся на мой счет – беда!..» К этому кодексу морали и житейской мудрости, выработавшемуся в голове Макара Алексеича, прибавьте умилительно-подловатое впечатление, оставшееся в нем от сцены, когда у него отлетела пуговица в присутствии генерала и генерал дал ему сто рублей и пожал руку. Сцена эта действительно превосходная, много раз была цитирована и потому, конечно, памятна читателям. А вот мысли о ней самого Макара Алексеича: «Кля-

нусь вам, – пишет он Вареньке, – что как ни погибал я от скорби душевной, в лютые дни нашего злополучия, глядя на вас, на ваши бедствия, и на себя, на унижение мое и мою неспособность, несмотря на все это, клянусь вам, что не так мне сто рублей дороги, как то, что его превосходительство сами мне; соломе, пьянице, руку мою недостойную пожать изволили! Этим они меня самому себе возвратили. Этим поступком *они мой дух воскресили, жизнь мне слаще навеки сделали*, и я твердо уверен, что как я ни грешен пред всевышним, но молитва о счастье и благополучии его превосходительства дойдет до престола его!» В этих излияниях душевных вы видите доброту, чувствительность, благородство, если хотите – даже утонченную деликатность Макара Алексеича; но согласитесь, что ведь вам жалко то унижение, в какое он ставит себя, и только сила сострадания прогоняет в вас то чувство отвращения, которое иначе невольно возбуждилось бы в вас таким искажением человеческой природы... Забитый, тощий пес Улисса{16}, с воем и ласкою встречающий своего господина, неизмеримо ближе и рав-

нее с ним, нежели этот чиновник с благодетельным его превосходительством. Полное отсутствие какого бы то ни было сознания о своем достоинстве, полное признание своего ничтожества, исключение себя из того рода существ, к которому равно принадлежат и Макар Алексеич, и его благодетель, – вот что видите вы в излияниях его благодарности. А он между тем счастлив, сам счастлив собственным унижением, и в умилении молит бога простить ему «ропот и *либеральные мысли*», которые он позволял себе подчас «в прежнее грустное время...»

Вот образец того, что нужно в общем механизме для успешного течения дел. Кажется, ничего не может быть лучше. Общество, достигнувшее того, что в нем вырабатываются подобные типы, может, кажется, назваться образцовым, совершенным, безукоризненным в смысле государственной теории. Здесь не только установлена и поддерживается известного рода иерархия... Это бы еще не штука: мало ли что можно установить и поддержать силою, – и кардинальское управление держится до сих пор в Риме... Но здесь не то:

здесь установившаяся иерархия не имеет даже надобности быть поддерживаема: так ясна для всех ее польза и необходимость, до такой степени заслужила она внутреннее одобрение каждого, даже наименее ею убогого, до такой степени все при ней признают себя счастливыми и довольными... Нельзя всем быть богатыми, всем талантливыми, всем красивыми; нельзя всем начальствовать, всем быть на первых местах; но истинный идеал государства состоит в том, чтобы всякий был доволен на своем месте, всякий признавал законность и глубокую справедливость своего положения и с такою же охотою повиновался, с какою другие повелевают, так же был спокоен и счастлив при своих десяти целковых жалованья, как другие при двадцати тысячах дохода. Вот тогда может осуществиться идеал золотого века; тогда, если даже кто и неприятности от других потерпит, — и это не расстроит ни общего хода дел, ни его собственного счастья, потому что и в неприятностях этих он будет видеть дело законное и полезное и будет примиряться с ними, как с годовыми переменами. Всякий член идеаль-

ной иерархии будет рассуждать, как рассуждает, например, Макар Алексеич о начальнических распеканциях, по поводу насмешника, дерзнувшего иронически о них отозваться: «Отчего же и не распечь, коль нужно нашего брата распечь?.. Ну, да положим и так, например, для тона распечь, – ну, и для тона можно; нужно приучать, нужно острастку давать... А так как разные чины бывают и каждый чин требует совершенно соответственной по чину распеканции, то естественно, что после этого и тон распеканции выходит разночинный; – это в порядке вещей! *Да ведь на том и свет стоит, что все мы, один перед другим тону задаем, что всяк из нас одного другого распекает. Без этой предосторожности и свет бы не стоял, и порядка бы не было*».

Вообразите себе идеальное государство, которое бы в основании своей организации положило подобную философию и в котором все члены прониклись бы ею глубоко и искренне, всем сердцем, всем существом своим: что за счастливое было бы государство! Какое вечно нерушимое спокойствие, какая непрерывная тишина, какой мир и благодушие царили бы

в нем! Никто бы не домогался того, чего не дано ему, никто не рвался бы с места, на котором поставлен, никто не рассуждал бы о том, что выше его звания. От бедняка мысль сделаться богатым была бы так же далека, как желание пролезть сквозь игольные уши; столначальник не думал бы критиковать распоряжений своего секретаря, как не критикует он наступления ночи после дня, и наоборот; даже какой-нибудь юноша из мелкой сошки, посаженный за переписку бумаг, точно так не вздумал бы тогда мечтать о подвигах, о славе и т. п., как теперь не приходит ему в голову мечтать, например, о превращении своем в крокодила, обитающего в Египте, или в допотопного мастодонта, открытого в северных льдах. Всюду разлито было бы благодатное спокойствие, без всяких порывов и треволнений. Все были бы на своих местах. Одни ездили бы в колясках, жили в великолепных палатах, занимались распеканием других, другие ходили бы пешком по грязи в дырявых сапогах, жили в сырых углах и получали распеканции, — но те и другие одинаково были бы спокойны и довольны своей уча-

стью. Те и другие существовали бы рядом, друг подле друга, так же безмятежно, как существуют дуб и крапива, хотя и отнесенные Линнеем к одному разряду по его системе, но нимало не помышляющие о соблазнительном равенстве друг с другом{17}. Не было бы тогда гнусной зависти, непозволительных стремлений, всякого рода опасений и подкопов; люди жили бы, как святые в царстве небесном: много будет в раю обитателей, много степеней блаженства, но низшие степени будут братски сочувствовать высшим и сами наслаждаться отблеском того высшего блаженства, которого удостоены избранные. Так было бы и на земле в том идеальном государстве, в котором бы все члены прониклись теми чистыми понятиями об общественной иерархии, какие сейчас были приведены... И что всего важнее – подобное устройство могло бы длиться вечно, потому что оно не заключает в себе никаких элементов разрушения, – ничего, что бы обещало хоть в отдаленном будущем нарушить общее спокойствие и блаженство. Идеальное общество, основанное на здравых понятиях об общественной иерар-

хии, могло бы существовать целые века спокойно, мирно и счастливо, и разве какой-нибудь геологический переворот мог бы разрушить его идеальные совершенства... Но, к величайшему сожалению друга человечества, не отыскивается философский камень, не бывает полного совершенства на земле, нет нигде такого идеального общества, какое мы предполагали... Говорят, в давние времена, которых мы с вами, читатель, уже и не припомним, было нечто подобное устроено в Индии, да и то при помощи самого Браммы. Пария от брамина был так же далек, и пропасть между ними была почти так же непреодолима, говорят, как пропасть между Макаром Алексеичем и его превосходительством. А на том свете, говорят индийцы, из семи кругов, в которых давались смертным разные виды блаженства, самым высшим считался тот, где человек терял совершенно свою личность, волю, сознание, погружался в лоно Браммы и решительно, без следа, уничтожался в нем. Это была высшая точка верховного блаженства, какую только могло вообразить себе индийское учение. Кажется, – чего бы лучше: обще-

ство с подобными началами не должно бы погибнуть, но должно бы постоянно расширять круг своих счастливых членов... – Но – таково несовершенство человеческой природы! – и индийское учение и устройство рушилось, и если теперь остается еще, то лишь в жалких подражаниях и переделках, далеких от совершенств первоначального образца. Нечто подобное устроили было отцы иезуиты в Парагвайской республике; но и там успех был далеко не полон. О других слабых попытках достигнуть идеала, деланных, например, в Неаполе, в Австрии и в других странах, не стоит и говорить. Теория принималась хорошо, проводилась в разных учреждениях, преподавалась в школах, проповедовалась в церквях монахами разных орденов, проникла даже в домашнее воспитание, захватывая таким образом человека в самые нежные, самые впечатлительные его годы: но – все не впрок! Большинство принимало теорию, не имело ничего сказать против нее; но не могло или не умело успокоиться на ней. Какое-то искание не переставало тревожить людей, и вот какая-нибудь пустая случайность, ничтожное

столкновение – и все взволновано, и идеал непрерывной тишины взлетел прахом на воздух... Моралисты утверждали, что все это от растленности человеческого рода и от помрачения ума его; другие, напротив, кричали, что теория будто бы идеальной организации, состоящая в обезличении человека, противна естественным требованиям человеческой природы и потому должна быть отвергнута, как негодная, и уступить место другой, признающей все права личности и принцип бесконечного развития, бесконечного шествия вперед, то есть прогресса, в противоположность застою.

Мы, то есть русские и преимущественно литераторы, обыкновенно держали себя в стороне от всех этих споров, происходивших на западе Европы. Мы в это время занимались своими вопросами: о торговле древнейшей Руси, о таланте г. Щербины, об Иакове Мнихе, о зооморфических божествах у славян, восхищались пением Марио и письмами Ивана Александровича Чернокнижникова, жалели о почти единовременной кончине Жуковского, Гоголя и Загоскина и удивлялись

ковам англичан, готовившимся против нас... Словом – мы, как и всегда, делали свое дело и в то, что нас не касается, не мешались: «Пома-ленечку, втихомолочку жили, никого не тро-гая, – старались, чтобы воды не замутишь». Тем не менее во время уже очень недавнее, когда кто-то крикнул: «Прогресс!», да и спря-тался, – и пошли с тех пор хвалить прогресс и бранить застои на чем свет стоит. Как и поче-му случилось это – объясните! Говорят, пото-му, что прогресс необходим человеку, что ско-рее зарезать его можно, чем заставить не же-лать прогресса... Не знаю, может оно и так. Посмотрим, не ответят ли нам что-нибудь взятые нами лица, воспроизведенные худож-нической силой. Известно, что ведь худож-ник всегда беспристрастен: к спорам и теори-ям он не прикасается, а наблюдает только факты жизни, да и рисует их, как умеет, – во-все не думая, кому это послужит, для какой идеи пригодится. И поэтому-то именно заме-чательный художник важен в общественном смысле: в жизни-то еще когда наберешь фак-тов, да и те будут бледны, отрывочны, побуж-дения неясны, причины смешаны; а тут, по-

жалуй, и одно или два явления представлены, да зато так, что после них уже никакого сомнения не может быть относительно целого разряда подобных явлений.

Нужно сказать, что некоторая доля художественной силы постоянно сказывается в г. Достоевском, а в первом его произведении сказалась даже в значительной степени. От него не ускользнула правда жизни, и он чрезвычайно метко и ясно положил грань между официальным настроением, между внешнею, форменностью человека и тем, что составляет его внутреннее существо, что скрывается в тайниках его натуры и лишь по временам, в минуты особенного настроения, мельком проявляется на поверхности. Из наблюдений автора, переданных нам в его рассказах, оказывается, что ведь ни одного человека нет, кто бы в самом деле, всем сердцем и душою возлюбил идеальную организацию, обещающую столько мира и довольства людям. Даже люди, наиболее ею пропитанные, и те беспрестанно проговариваются и уклоняются. Да вот хоть бы сам Макар Алексеич: вы, может быть, думаете, что он в самом деле

успокоился на том, что «всякому свое место назначено, а места по способностям распределены» и т. д.? Вовсе нет; это когда он резонирует в спокойном положении, так и говорит таким образом. А чуть что-нибудь заденет его за живое, – он совсем меняется, и лезут ему в голову сами собою «либеральные мысли». Он тогда спрашивает: «Отчего же это так все случается, что вот хороший-то человек в запустенье находится, а к другому кому счастье само напрашивается?.. Знаю, знаю, маточка (спешит он прибавить, обращаясь к Вареньке), что нехорошо это думать, что это вольнодумство; но по искренности, по правде-истине, – зачем одному еще во чреве матери прокаркнула счастье ворона-судьба, а другой из воспитательного дома на свет божий выходит? И ведь бывает же так, что счастье-то часто Иванушке-дурачку достается. Ты, дескать, Иванушка-дурачок, ройся в мешках дедовских, пей, ешь, веселись, а ты, такой-сякой, только облизывайся; ты, дескать, на то и годишься, ты, братец, вот какой! Грешно, маточка (снова спешит оговориться боязливый Макар Алексеич), оно грешно этак думать, *да тут*

поневоле как-то грех в душу лезет». Расчувствовавшись, Макар Алексеич уже не ограничивается и сомнениями, – а даже до негодования доходит и задевает людей почище себя: «Что фрак-то на нем сидит гоголем, что в лорнетку-то золотую он на вас смотрит, бесстыдник, – так уж ему все с рук сходит, так уж и речь его непристойную снисходительно слушать надо! *Полно, так ли, голубчики?*» Как хотите, а ведь это чуть не вызов со стороны бедного чиновничка: видно, не совсем же угомонилось его сердце, не совсем успокоился он на том, что «если бы мы друг другу тону не задавали, то и свет бы не стоял, и порядку бы не было». Нет, он издает теперь вопли сердечные и сознает за собою право вопить и жаловаться: «А еще люди богатые не любят, – замечает он, – чтобы бедняки на худой жребий вслух жаловались, – дескать, они беспокоят, они-де назойливы. *Да и всегда бедность назойлива; спать, что ли, мешают их стоны голодные?*» И переполненное горечью сердце внушает ему такие мысли, вызывает наружу такие инстинкты, которых он сам испугался и отрекся бы в обыкновенном положении, но

которые теперь, сами собою, неодолимо являются во всей своей силе. «Теперь на меня *такая тоска нашла*, – пишет разогорченный Деушкин, – *что я сам своим мыслям до глубины души стал сочувствовать*, и хотя я сам знаю, маточка, что этим сочувствием не возьмешь, но все-таки *некоторым образом справедливость воздашь себе*. И подлинно, родная моя, *часто самого себя без всякой причины уничтожаешь*, в грош не ставишь и ниже щепки какой-нибудь сортируешь. А если сравнением выразиться, так это, может быть, от того происходит, что я сам *запуган и загнан*, как хоть бы и тот бедненький мальчик, что милостыни у меня просил». Вот такие-то мысли, западая в человека и развиваясь в нем с чрезвычайною быстротою и силою, при помощи его природных инстинктов, – и губят всеобщую тишину и спокойствие в том идеальном общественном механизме, который так отрадно рисовался нам выше. И нельзя сказать, чтобы автор здесь выдумывал, клеветал на человеческую природу. Можно заметить, пожалуй, что Макар Алексеич для своего образования и положения является уже

слишком метким оценщиком противоречий официальных основ жизни с ее действительными требованиями; но это потому, что, сочиняя в течение полугода, чуть не каждый день, письма к Вареньке, Макар Алексеич изоштрил свой слог; а с другой стороны – почему же и автору немножко не прийти к нему на помощь? Но помощь эта касается единственно словесного выражения мыслей; сами же мысли чисто принадлежат Макару Алексеичу, – это скажет всякий, хоть недолгое время, хоть раз бывавший в его положении. Макар Алексеич формулировал свои тяжкие сомнения в письмах к Вареньке; другие не формулируют их иначе, как своим поведением, разными странными поступками и печальными их результатами. Если вы, например, имели бы терпение хоть перелистовать бесконечного г. Голядкина, – вы увидели бы, что и он мучится и сходит с ума совершенно по тем же общим причинам, – вследствие неудачного разлада бедных остатков его человечности с официальными требованиями его положения. Голядкин не так беден и задавлен, как Деушкин; он может себе позволять

даже некоторый комфорт; даже в своем кругу видит людей, которых *официально* имеет право считать ниже себя, так как он состоит помощником столоначальника в департаменте. Вследствие того он приобрел некоторое условное уважение к себе и какое-то смутное понятие о «своем праве». Но тут он и спутался. Случилось обстоятельство, при котором нужно было выставить вовсе не это, чиновное право, а совсем другое: ему понравилась девушка. Как искатель незавидный, он был отстранен, и вот тут-то перевертываются вверх дном все его понятия. Макар Алексеич нашел возможность удовлетворить доброте своего сердца, быть полезным для любимого существа, и потому в нем все больше и яснее развивается гуманное сознание, понятие об истинном человеческом достоинстве. Яков Петрович Голядкин, напротив, получил несколько афронтов от родных своей возлюбленной и от своего соперника и потому, оскорбленный в своем человеческом чувстве, но не умея хорошенько сознать этого, прямо хватается за свое чиновное право. «Это моя частная жизнь, это не касается моих офици-

альных отношений», – находится он сказать, когда ему отказывают от званого обеда в доме родителя его возлюбленной. И затем его мысли совершенно расстраиваются; он уже не знает, что же он вправе или не вправе... Он чувствует только одно, – что тут что-то не так, не ладно. Хочет он объясниться со всеми – врагами и недругами, – все не удастся, характера не хватает... И приходит он к *idée fixe*[6], к пункту своего помешательства: что жить в свете можно только интригами, что хорошо на свете только тому, кто хитрит, подличает, других обижает... И вот у него является на уме решимость – тоже хитрить, тоже подкопы вести, интриговать... Но где уж ему пускаться на такие штуки? Не так он жил прежде, не так приговорен, характер у него не такой... «Натура-то твоя такова; душа ты правдивая, – рассуждает он сам с собою. – Нет, уж лучше мы с тобой потерпим, Яков Петрович, – подождем и потерпим». И к этому прибавляется еще у него мысль, тоже обличающая его характер, – мысль, что все еще «может объясниться и устроиться к лучшему». Оттого-то он никак не может ни на что решиться, даже вы-

сказаться порядком не может и, несмотря на «присутствие страшной энергии в себе», – вечно мнется, трусит и ворочается с половины дороги. Все, что в нем было живого, здравого и сознательного, как-то не выливалось в обычную форму, в которой он доселе сидел так хорошо, и, едва поднявшись, оседало опять на дно его души, но оседало как-то беспорядочно, болезненно, совершенно не под стать к стройности того чиновного механизма, в котором он был вставлен. Характеризуя его противоречия, автор, между прочим, говорит: «Позволить обидеть себя он никак не мог согласиться, а тем более – позволить затереть себя, как ветошку, и, наконец, позволить это совсем развращенному человеку... Не спорим, впрочем, не спорим: может быть, если б кто захотел, если б уж кому, например, вот так непременно захотелось обратить в ветошку господина Голядкина, то и обратил бы, обратил бы без сопротивления и безнаказанно (господин Голядкин сам в иной раз это чувствовал), и вышла бы ветошка, а не Голядкин, – так, подлая, грязная бы вышла ветошка, но ветошка-то эта была бы не простая, ве-

тошка эта была бы с амбицией, была бы с одушевлением и чувствами, *хотя бы и с безответной амбицией и с безответными чувствами и далеко в грязных складках этой ветошки скрытыми, но все-таки с чувствами*». Мне кажется, трудно лучше характеризовать положение забитых людей, подобных Голядкину, людей, действительно как будто превращенных в тряпицу и только в грязных складках хранящих остатки чего-то человеческого, неслышного, безответного, но все как-то по временам дающего себя чувствовать. Вот оно дало себя чувствовать и г. Голядкину, и всею тяжестью обрушились тяжкие сомнения и вопросы на бедный рассудок и фантазию Якова Петровича. «Так это не так? Тут не каждый в своем праве? Тут берут интригами? Давай же, когда так, и я буду интриговать... Да где мне интриговать? Натура у меня глупая – правдивая, – никогда окольными путями... Но другие же все окольными путями ходят, иначе человека затрут, а я затереть себя не могу позволить... А что в самом деле, если б я...» И господин Голядкин, вообще склонный к меланхолии и мечтательности, начинает себя

раздражать мрачными предположениями и мечтами, возбуждать себя к не свойственной его характеру деятельности. Он раздвояется, самого себя он видит вдвойне... Он группирует все подленькое и житейски ловкое, все гаденькое и успешное, что ему приходит в фантазию; но отчасти практическая робость, отчасти остаток где-то в далеких складках скрытого нравственного чувства препятствуют ему принять все придуманные им пронырства и гадости на себя, и его фантазия создает ему «двойника». Вот основа его помешательства. Не знаю, верно ли я понимаю основную идею «Двойника»; никто, сколько я знаю, в разъяснении ее не хотел забираться далее того, что «герой романа – сумасшедший». Но мне кажется, что если уж для каждого сумасшествия должна быть своя причина, а для сумасшествия, рассказанного талантливым писателем на 170 страницах, – тем более, то всего естественнее предлагаемое мною объяснение, которое само собою сложилось у меня в голове при перелистывании этой повести (всю ее сплошь я, признаюсь, одолеть не мог). Автор, кажется, сам не чужд был такого объ-

яснения: так по крайней мере представляется по некоторым местам повести. Например, первое признание г. Голядкиным своего двойника описывается автором так: это был «не тот г. Голядкин, который служил в качестве помощника своего столоначальника; *не тот, который любил стушеваться и зарываться в толпе, не тот, наконец, чья походка ясно выговаривает «не троньте меня, и я вас трогать не буду»*, или: «не троньте меня, – ведь я вас не затрогиваю», – нет, это был другой господин Голядкин, совершенно другой, но вместе с тем и совершенно похожий на первого». И далее беспрестанно г. Голядкин-младший ведет себя с такою ловкостью и бесстыдством, какие только в мечтах и возможны: он ко всем подбивается, перед всеми семенит, бегаёт с портфелем его превосходительства, из чего г. Голядкин-старший заключает, что он уже «по особому»... Г. Голядкин-младший всегда умеет остаться правым, ускользнуть от объяснений, отвернуться и подольститься, когда нужно; он способен даже заставить другого заплатить за съеденные им расстегаи; и при всем том он со всеми хорош, он смело рассуж-

дает там, где Голядкин-старший умиленно теряется, он сидит в гостиной там, куда Голядкин-старший и в переднюю показать нос боится... Нечего и говорить, что г. Голядкин все это самого же себя рисует в виде двойника своего. Выдумывая его небывалые, фантастические подвиги, он имеет мысль, что вот поступи он только таким образом (как некоторые люди и поступают) – и по службе он успевай бы, и насмешкам товарищей не подвергался, и не был бы затерт каким-нибудь выскочкой, раньше его получившим коллежского, и главное – не был бы так безбожно обижен драгоценною Кларою Олсуфьевною и ее родными. Но вместо того чтобы любоваться на подобные подвиги, г. Голядкин возмущается против них всею долею того забитого, загнанного сознания, какая ему осталась после ровного и тихого гнета жизни, столько лет непрерывно покоившегося на нем. Ему противны даже в мечтах те поступки, те средства, которыми выбиваются «некоторые люди»; он с постоянным страхом отбрасывает свои же мечты на другое лицо и всячески позорит и ненавидит его. В минуты же просвет-

ления, когда он опять начинает яснее сознавать свою собственную личность, он вспоминает о своих поползновениях на хитрость, ему мерещится строгий голос старичка Анто́на Анто́ныча: «А что, и вы тоже собирались хитрить?» – и бледнеет, теряетя, – и снова представляется ему образ его двойника, который бы из всего этого вывернулся, посеменив ножками, и еще сильнее растет раздражение г. Голядкина против такой подлой, зловередной личности... Порою к нему возвращаются прежние мысли, что, может быть, все устроится к лучшему, – и вот ему раз представляется даже, будто Клара Олсуфьевна, плененная его качествами, присылает ему письмо, в котором приказывает увезти ее от злостных и неблагонамеренных интриганов. И г. Голядкин, точно, отправляется под окна Клары Олсуфьевны – ждать ее, а отсюда уже отвозят его в сумасшедший дом...

Ну, посудите же – зачем было сходить с ума человеку? Оставайся бы он только верен безмятежной теории, что он в своем праве, и все в своем праве, что если новый коллежский раньше его произведен, – так этому так

и следует быть, и что если Клара Олсуфьевна его отвергла, так опять это значит, – что ему к ней и соваться не следовало, – словом, продолжай он идти своей дорогой, никого не затрагивая, и помни, что все на свете законнейшим образом распределяется по способностям, а способности самую природою даны и т. д. – вот и продолжал бы человек жить в прежнем довольстве и спокойствии. Так ведь нет же: встало что-то со дна души и выразилось мрачайшим протестом, к какому только способен был ненаходчивый г. Голядкин, – сумасшествием... Не скажу, чтоб г. Достоевский особенно искусно развил идею этого сумасшествия; но надо признаться, что тема его – раздвоение слабого, бесхарактерного и необразованного человека между робкою прямою действий и платоническим стремлением к интриге, раздвоение, под тяжестью которого сокрушается наконец рассудок бедняка, – тема эта, для хорошего выполнения, требует таланта очень сильного. При хорошей обработке из г. Голядкина могло бы выйти не исключительное, странное существо, а тип, многие черты которого нашлись бы во

многих из нас. Припомните ваши встречи с чиновным людом; припомните тех, которые называют себя людьми неискательными, спокойными, любящими по правде жить. Вспомните, как они любят говорить о своей неискательности и как иногда, вдруг круто изменяется направление разговора при упоминании о ком-нибудь из их сослуживцев, начальников или знакомых, успевающим больше других. Тут сейчас пойдет: и «хорошо тому жить, у кого бабушка ворожит», и «правдой век не проживешь», и жалобы на собственную неспособность к подлостям, и ироническое, как будто уничижительное перечисление собственных заслуг: «Что, дескать, мы – что по шести-то часов спины не разгибаем, да дела-то все нами держатся – эка важность... А вот – пойти к его превосходительству на бал, да польку там отхватать, да по утрам вместо дела-то по магазинам разъезжать – его супруги комиссии исполнять – вот это дело, вот с этим и в честь попадешь... А мы – что? Клячи водовозные, волю подъяремные – только в черную работу и годимся...» и т. д. А затем разговор непременно принимает такой обо-

рот: что ведь «и мы, дескать, могли бы подличать, и мы могли бы финтить»... и в доказательство расскажут вам несколько случаев, где, точно, человеку удобно было сподличать, а он не захотел... Во всех подобных господах решительно сидит тенденция г. Голядкина к сумасшедшему дому; дайте им только побольше мечтательности и меланхолии – и переход будет недалек...

Господин Голядкин, впрочем, человек уж совсем сумасшедший; оставим его. А вот еще есть лицо у г. Достоевского, тоже сумасшедший, но скорее только мономан – г. Прохарчин. Человек этот тоже сообразил, должно быть еще при начале своего служебного поприща, что «одному на сем свете назначено в каретах ездить, другому в худых сапогах по грязи шлепать», и, причислив себя к последнему разряду, нанял себе угол и живет, не думая пытаться судьбы своей. Но прочного спокойствия нет у него на душе; характер у него боязливый, как у всех забитых, и хотя он твердо верует в нерушимость своей философии, но на свете видит и случайности разного рода: болезни, пожары, внезапные уволь-

нения от службы по желанию начальства... Бедняка начинает преследовать мысль о непрочности, о *необеспеченности* его положения. Мысль, конечно, очень естественная. Натурален и результат ее – решение откладывать и копить деньги, на всякий случай. Но исполнение уже дико, хотя тоже понятно в г. Прохарчине: он прячет звонкую монету себе в тюфяк... Да и куда же ему девать в самом деле? В сундук положить – утащат; поручить кому-нибудь – никому довериться нельзя; в ломбард положить – помилуйте, это значит прямо объявить себя богачом, Крезом каким-то. «У него деньги в ломбарде лежат» – знаете ли вы, как звучит эта фраза в кругу мелких чиновников, а тем более обитателей углов!.. Вот г. Прохарчин и прячет деньги в тюфяк, и 10 лет прячет, и 15, и 20, может быть и больше, и даже сам, кажется, высчитать хорошенько не может, сколько у него там спрячено, а потревожить тюфяк – боится любопытных глаз... Живет он довольно спокойно, то есть перед всяким сторонится, всего робеет и рад, что его не трогают. Вдруг вместе с ним поселяются новые жильцы – хорошие люди,

но «надсмешники». Заметив боязливость Прохарчина и постоянную мысль о необеспеченности, – давай они между собою сочинять слухи – то о сокращении штатов, то об экзаменах для старых чиновников, то о желании его превосходительства уволить всех чиновников с непрезентабельной фигурой, то вообще о тяжелых временах... И что бы вы думали? Ведь совсем сбился с толку бедняжка Прохарчин: ходит сам не свой, лица на нем нет, так и ждет, что его выгонят из службы, и тогда что же с ним будет? Запасец хоть и сделан, да ведь уже его теперь истощать придется, а пополнять неоткуда... Волнение Прохарчина выразилось, как водится, между прочим, тем, что он, встретясь с каким-то закоснелым пьянчужкой, хватил через край и привезен домой в бесчувствии и больной. Едва очнувшись, он начал бредить и тосковать о том, что вот живешь-живешь, да и пойдешь с сумочкой; нынче нужен, завтра нужен, – а потом и не нужен, и ступай по миру... Его начинают убеждать, что ему бояться нечего: человек он хороший, смирный и пр.... Он отвечает: «Да вот он вольный, я вольный; а как ле-

жишь, лежишь, да и того...» – «Чего?» – «Ан и вольнодумец»... Все приходят в ужас и негодование при одной мысли, что Прохарчин может быть вольнодумцем; но он возражает: «Стой, я не того... ты пойми только, баран ты: я смиренный, сегодня смиренный, завтра смиренный, а потом и не смиренный, сгрубил; пряжку тебе, и пошел вольнодумец!..» Словом сказать, – господин Прохарчин сделался истинным вольнодумцем: не только в прочность места, но даже в прочность собственного смирения перестал верить. Точно будто вызвать на бой кого-то хочет: «Да что, дескать, вечно, что ли, я пресмыкаться-то буду? Ведь я и сгрублю, пожалуй, – я и сгрубить могу... Только что тогда будет?..» Но разгулялся этот господин Прохарчин перед смертью: в ту же ночь, не осилив волнения, он умер, возбудив общее сожаление в жильцах. А по смерти его нашли в тюфяке, в разных сверточках, серебряной монеты на 2497 рублей с полтиной асигнациями, – отчего жильцы, и в особенности хозяйка, пришли уже в негодование...

Господин Прохарчин, как забитый, запуганный человек, ясен; о нем и распростра-

няться нечего. О его внезапной тоске и страхе отставки тоже нечего много рассуждать. Привести разве мнение его сожителей во время его болезни: «Все охали и ахали; всем было и жалко и горько, и все меж тем дивились, что вот как же это таким образом мог совсем заробеть человек? И из чего же заробел? Добро бы был при месте большом, женой обладал, детей поразвел; добро б его там под суд какой ни на есть притянули; а то ведь и человек совсем дрянь, с одним сундуком и с немецким замком; лежал с лишком двадцать лет за ширмами, молчал, свету и горя не знал, скопидомничал, и вдруг вздумалось теперь человеку, с пошлого, с праздного слова какого-нибудь, совсем перевернуть себе голову, совсем заботиться о том, что на свете вдруг стало жить тяжело... *А и не рассудил человек, что всем тяжело!.. Прими он вот только это в расчет, – говорил потом Океаниев, – что вот всем тяжело, так бы сберег бы человек свою голову, перестал бы куролесить и потянул бы свое кое-как, куда следует».*

И ведь прав Океаниев: действительно, Прохарчин оттого и погиб, что с пути здоровой

философии сбился.

Но кто же не сбивался с нее? У кого не бывало случаев, порывов, увлечений, внезапно нарушавших ровный ход мирно устроенного механизма жизни? Вот еще, пожалуй; пример из г. Достоевского: юный чиновник, Вася Шумков, из низкого состояния трудолюбием и благонравием вышел, за почерк и кротость любим начальством и самим его превосходительством, Юлианом Мастаковичем, получает от него приватные бумаги для переписки да еще за эту честь и деньгами от него награждается время от времени. К этому еще – он имеет преданного друга Аркашу; мало того – он полюбил, заслужил взаимность и уже женихом объявлен... Чего ему еще! Он переполнен счастьем: жизнь ему улыбается. Триста рублей жалованья да приватных от Юлиана Мастаковича – житье с женою хоть куда! Они же так любят друг друга! Вася ничего не помнит, ни о чем не думает, кроме своей невесты; у него есть бумаги, данные для переписки Юлианом Мастаковичем; сроку остается два дня, но Вася, с свойственным влюбленному юноше легкомыслием, говорит: «Еще

успею», и не выдерживает, чтоб в вечер под Новый год не отправиться с приятелем к невесте... Но, возвратившись домой и засевши на целую ночь писать, он поражается суровой действительностью: всех бумаг никак не перепишешь к сроку, – а завтра к тому же Новый год, надо еще идти – расписаться у его превосходительства. Напрасно Аркаша его удерживает, обещая за него расписаться, – Вася боится, что Юлиан Мастакович могут обидеться. Напрасно также добрый друг уговаривает его не сокрушаться, напоминая о великодушии Юлиана Мастаковича: это еще более убивает Васю. Как! о, ничтожный червяк, презренное, жалкое существо, – удостоен такого высокого внимания, получает частные поручения, слышит милостивые слова... и вдруг – что же? – нерадение, неисполнительность, неблагодарность! Всю чудовищность, всю черноту своего поступка Вася и измерить не может, ибо соразмеряет ее с расстоянием, разделяющим его от Юлиана Мастаковича, – а кто же может измерить это расстояние?! У бедняка голова кружится при одном взгляде на эту страшную пропасть... Он было думает

идти к Юлиану Мастаковичу и принести повинную; но как решиться на подобную дерзость? Друг его хочет объясниться за своего друга, даже отправляется к его превосходительству, но заговорить тоже не решается. Бедный Вася сидит за письмом два дня и две ночи, у него мутится в голове, он уже ничего не видит и водит сухим пером по бумаге. Наконец любовь, ничтожество, гнев Юлиана Мастаковича, недавнее счастье, черная неблагодарность, страх за свое полнейшее бессилие – сламывают несчастного, он убеждается, что «ему теперь одна дорога – в солдаты, и мешается на этой мысли. А Юлиан Мастакович благодушно заметил: «Боже, как жаль! И дело-то, порученное ему, было не важное и во все не спешное... Так-таки ни из-за чего погиб человек!»

Положим, что г. Достоевский слишком уж любит сводить с ума своих героев; положим, что у Васи его уж донельзя *слабое сердце* (так и повесть называется). Но всмотритесь в основу этой повести, – вы придете к тому же результату: что идеальная теория общественно-го механизма, с успокоением всех людей на

своём месте и на своём деле, вовсе не обеспечивает всеобщего благоденствия. Оно точно, будь на месте Васи писальная машинка, – было бы превосходно. Но в том-то и дело, что никак человека не усовершенствуешь до такой степени, чтоб он уж совершенно машиною сделался; в большой массе ещё так – это мы видим в военных эволюциях, на фабриках и пр., но пошло дело поодиночке – не сладишь. Есть такие инстинкты, которые никакой форме, никакому гнету не поддаются и вызывают человека на вещи совсем несообразные, чрез что, при обычном порядке вещей, и составляют его несчастье. Вот хотя бы для этого Васи, – если уж пробудилось в нём чувство, если уж он не может отстранить от себя человеческих потребностей, – то уж гораздо лучше было бы для него вовсе и не иметь этого похвального сознания о своём ничтожестве, о своём беспредельнейшем, жалком недостоинстве перед Юлианом Мастаковичем. Смотря на дело обыкновенным образом, он сказал бы просто: «Ну, что же делать, – не успел; обстоятельства такие вышли», – и остался бы довольно спокоен. А много ли найдем мы людей в положе-

нии Васи, которые бы способны были к такой храбрости? Большая часть, проникнутая сознанием своего бессилия и величием начальнической милости, – с трепетом возится за его поручением и хоть не сходит с ума, но сколько выдерживает опасений, сомнений, сколько тяжелых часов переживает, ежели что-нибудь не сделается или сделается не совсем так, как поручено... И все это ведь не из-за дела (до которого Васе и всякому другому подобному ни малейшей нужды нет), а именно из-за того, как взглянут, что скажут, – из-за того, что от этого взгляда жизнь Васи зависит, в этом слове вся его участь может заключаться.

Говорят, отрадно человеку иметь за собою кого-нибудь, кто о нем заботится, за него думает и решает, всю его жизнь, все его поступки и даже мысли устроивает. Говорят, это так согласно с естественной инерцией человека, с его потребностью отдаваться кому-нибудь беззаветно, поставить для души какой-нибудь образец и владыку, в воле которого можно бы почивать спокойно. Все это очень может быть справедливо в известной степени и

может оправдываться даже историей. Но едва ли это мнение может найти себе оправдание в тенденциях современных обществ. Оттого ли, что общества новых времен вышли из состояния младенчества, в котором естественное чувство бессилия необходимо заставляет искать чужого покровительства; оттого ли, что прежние, известные нам из истории покровители и опекуны обществ часто так плохо оправдывали надежды людей, доверявших им свою участь, – но только теперь общественные тенденции повсюду принимают более мужественный, самостоятельный характер. Высокие добродетели слепой, безумной преданности, безусловного доверия к авторитетам, безотчетной веры в чужое слово – становятся все реже и реже; мертвенное подчинение всего своего существа известной формальной программе – и в ордене иезуитов осталось уже едва ли не на бумаге только. «Естественная человеку инерция» признается уже каким-то отрицательным качеством, вроде способности воды замерзнуть; напротив, на первом плане стоит теперь *инициатива*, то есть способность человека самостоятельно,

самому по себе братья за дело, – и о достоинствах человека судят уже по степени присутствия в нем инициативы и по ее направлению. Все как-то стремится стать на свои ноги и жить по милости других считает недостойным себя. Такое изменение тенденций произошло в обществах новых народов Европы с конца прошлого столетия. Можем сказать, что изменение это не миновало отчасти и нас. Не касаясь других сфер, недоступных в настоящее время нашему описанию, возьмем хотя литературу. То ли она представляет теперь, что за полвека назад? С одной стороны, литература в своем кругу – лицо самостоятельное, не ищущее *милостивцев* и не нуждающееся в них; только иногда, очень редко, какой-нибудь стихотворец пришлет из далекой провинции журнальному сотруднику водянистые стишки, с просьбою о *протекции* для помещения их в таком-то журнале. Да эти чудачки большею частью оказываются людьми старого веку, на склоне лет взыгравшими поэтическим вдохновением... С другой стороны, посмотрите и на отношение публики к литературе: недоступных пьедесталов уж нет,

непогрешимые авторитеты не признаются, мнение, что «уж, конечно, это верх совершенства, если написано таким-то», вы едва ли часто услышите; а отзыв, что «это прекрасно потому, что таким-то одобрено» – вероятно, еще реже. Всякий, худо ли, хорошо ли, старается судить сам, пускать в ход собственный разум, и теперь самый обыкновенный читатель не затруднится отозваться, вовсе не с чужого голоса, – что, например, «Свои собаки» Островского – бесцветны и не новы, «Первая любовь» Тургенева – пошлость, «Полемиические красоты» Чернышевского – нахальны до неприличия, и т. п. Другие читатели выскажут опять, может быть, мнения совершенно противоположные и, расхвалив «Первую любовь», назовут гнилью «Обломова»... Те и другие могут ошибаться; но все же это люди, говорящие свое мнение и не боящиеся того, что высказывают его о лицах уважаемых, даровитых, высоко поставленных и признанных в литературе. Мы не станем говорить, что способствовало такому изменению в читающей публике, и даже согласимся, пожалуй, что на первый раз это всеобщее разнуздание литера-

турных суждений произвело страшный сумбур: всякий порет дичь, какая только ему придет в голову. Но ведь как же иначе и делаются все человеческие дела? Ведь только Минерва вышла из головы Юпитера во всеоружии, а наши земные дела все начинаются понемножку, с ошибками и недостатками. Да чего вам лучше – сами-то гражданские общества с чего начались, как не со столпотворения вавилонского?

Следовало бы ожидать, что, при всеобщем стремлении к поддержанию своего человеческого достоинства, исчезнут и те забытые личности, которых несколько экземпляров взяли мы у г. Достоевского. Однако ж – оглянитесь вокруг себя – вы видите, что они не исчезли, что герои г. Достоевского – явление во все не отжившее. Отчего же они так крепятся? Хорошо, что ли, им? Нет, мы видели, что никому из них не приносит особенного счастья его забитость, безответность и отречение от собственной воли, от собственной личности. Замерло, что ли, в них все человеческое? Нет, и не замерло. Мы нарочно проследили четыре лица, более или менее удачно изобра-

женных автором, и нашли, что живы эти люди и жива душа их. Они тупеют, забываются в полуживотном сне, обезличиваются, стираются, теряют, по-видимому, и мысль, и волю, и еще нарочно об этом стараются, отгоняя от себя всякие наваждения мысли и уверяя себя, что это не их дело... Но искра божья все-таки тлеется в них, и никакими средствами, пока жив человек, невозможно потушить ее. Можно стереть человека, обратить в грязную ветошку, но все-таки, где-нибудь, в самых грязных складках этой ветошки, сохранятся и чувство и мысль, – хоть и безответные, незаметные, но все же чувство и мысль...

«А что же в них, если они незаметны и безответны, – скажет читатель. – Все равно, значит, что их и нет. И вот поэтому-то, вероятно, и продолжают до сих пор существовать эти несчастные создания, забитые до степени грязной ветошки, об которую обтирают ноги».

Мало ли что незаметно, читатель, – незаметно потому, что не хотят замечать. Незаметно до поры до времени, но бывает такая пора, что все выходит наружу. Ведь вот г. До-

стоевский нашел же возможность подсмотреть живую душу в оступевших, одеревенелых чертах своих героев. А бывают такие случаи, когда «безответное» чувство, глубоко запрятанное в человеке, вдруг громко отзовется, и все услышат его. Дело в том, что в человеке ничем незаглушимо чувство справедливости и правомерности; он может смотреть безмолвно на всякие неправды, может терпеть всякие обиды без ропота, не выразить ни одним знаком своего негодования; но все-таки он не может быть нечувствителен к неправде, насколько ее видит и понимает, все-таки в душе его больно отзывается обида и унижение, и терпению даже самого убитого и трусливого человека всегда есть предел. Вместе с тем в человеке необходимо есть чувство любви; всякий имеет кого-нибудь, дорогого для себя, – друга, жену, детей, родных, любовницу. На них примеривает он свое положение, их сравнивает с другими, об их довольстве думает, и со стороны ему рассуждается вольнее и яснее. Себя, положим, Макар Алексеич обрек на горькую долю и о себе не жалеет: я уж, говорит, таковский, – пусть мною все помыка-

ют... и недоем-то я – не беда, и обидят-то меня – так не велик барин. Но вот его чувство обращается на чистое, нежное существо, которое скоро делается ему всего дороже в жизни, на Вареньку: он уже предается сожалению о ее несчастиях, находит их незаслуженными, заглядывает в кареты и видит, что там барыни сидят все гораздо хуже Вареньки; ему уже приходят в голову мысли о несправедливости судьбы, ему становится как-то враждебным весь этот люд, разъезжающий в каретах и перепархивающий из одного великолепно-го магазина в другой, словом – скрытая боль, накипевшая в груди, подымается наружу и дает себя чувствовать. И бывает это вовсе не так редко, как можно предполагать, не зная дела; бывает это тем чаще, что в большинстве случаев человек, загнанный и забитый, бывает крайне стеснен и в материальном отношении, а между тем принужден бывает выполнять разные общественные условия. Макар Алексеич сокрушается, что скажут его превосходительство, увидев его плачевный вицмундир, говорит, что пьет чай; собственно, для других, до глубины души возмущается на-

смешкою департаментского сторожа, не давшего ему щетки почистить шинель, под тем предлогом, что об его шинель казенную щетку можно испортить... В самом деле, – каково положение: поставлен человек в кругу других, должен вести с ними дело, быть одетым, как они, пить и есть, как они, и в то же время он лишен всякой возможности даже хоть подражание сносное устроить. Уж не говоря об отличных сапогах, – хоть бы какие-нибудь, сапоги, – так и тех нет; были одни, да и у тех подошвы отстали... Понятны трагические восклицания Макара Алексеича: «Пожалуй, и сам я скажу, что не нужно его, малодушия-то; да при всем этом решите сами, в каких сапогах я завтра на службу пойду! Вот оно что, маточка; а ведь подобная мысль погубить человека может, совершенно погубить». И мало ли людей, страдающих и изнывающих в подобных заботах? А еще если есть любимое существо, если есть семейство? Сколько горя, сколько тоски самой прозаической, но оттого не меньше тягостной и ужасной! Среди этих-то забот чувствует человек, до чего он унижен, до чего он обижен жизнью; тут-то посы-

дает он желчные укоры тому, на чем, по-видимому, так сладостно покоится в другое время, по изложенной выше философии Макара Алексеича. И в этом-то пробуждении человеческого сознания всего более заслуживает наше сочувствие, и возможностью подобных сознательных движений он искупает ту противную, апатичную робость и безответность, с которою всю жизнь подставляет себя чужому произволу и всякой обиде.

Но отчего же подобные вспышки «божьей искры» так слабы, так бедны результатами? Отчего пробужденное на миг сознание засыпает снова так скоро? Отчего человеческие инстинкты и чувства так мало проявляются в практической деятельности, ограничиваясь больше вздохами и жалобами да пустыми мечтами?

Да оттого и есть, что у людей, о которых мы говорим, уж характер такой. Ведь будь у них другой характер, — не могли бы они и быть доведены до такой степени унижения, пошлости и ничтожества. Вопрос, значит, о том отчего образуются в значительной массе такие характеры, какие общие условия разви-

вают в человеческом обществе инерцию, в ущерб деятельности и подвижности сил.

Может быть, вина в нашем национальном характере? Но ведь этим вопрос не решается, а только отдалается: отчего же национальный характер сложился такой, по преимуществу инертный и слабый? Придется только решение, вместо настоящего времени, перенести на историческую почву.

Притом же это еще вопрос спорный: ведь не мало кричат у нас и о ширине, и о размашистости русской природы. Не произнесем своего суждения о всем народе; мы имеем в виду лишь один ограниченный круг его. Но признаться надобно – забавны восторги этой размашистостью, выражающиеся в том, что иные господа парятся в банях, поддавая на каменку шампанское, другие бьют посуду и зеркала в трактирах, третьи – проводят всю жизнь в псовой охоте, а в прежние времена так еще обращали эту охоту и на людей, зашивая мелкопоместных лизоблюдов в медвежьих шкуры и потом травя их собаками... Этакая-то размашистость водится во всяком невежественном обществе и везде падает с

развитием образования. Но где же наша раз-  
машистость в кругу обыкновенных людей, да  
и откуда ей взяться? Возьмите у нас хоть  
незрелых еще юношей, учащихся наукам: че-  
го они ждут, какую себе цель предполагают в  
жизни? Ведь все мечты большей части огра-  
ничены карьерой, вся цель жизни в том, что-  
бы получше устроиться. Это несравненно ре-  
же встречаете вы у других народов Европы.  
Не говоря о французах, которые имеют репу-  
тацию хвастунишек, – возьмите других, хоть,  
например, скромных немцев. Редкий немец-  
кий студент не лелеет в душе какой-нибудь  
любимой идеи, – у них все больше ударяются  
в теорию, – какой-нибудь громадной мечты.  
Или он откроет новые начала философии и  
проложит новые пути для мысли; или ради-  
кально преобразует существующие педагогиче-  
ские методы, и после него человечество бу-  
дет воспитываться на новых основаниях; или  
он будет великим композитором, поэтом, ху-  
дожником... Наконец, если и угомонится он,  
сузятся его стремления, решится он быть учи-  
телем какой-нибудь сельской школы, – и тут  
он задает себе вопрос и думает, как он будет

учить, как приобретет расположение мальчи-  
ков и уважение общины и т. п. Во всем этом  
вы видите что-то деятельное и самостоятель-  
ное: «Я то-то сделаю, – а что я за это получу,  
уж там само собою следует»... Это не тот склад  
размашистых мечтаний, как, например, у го-  
родничего, мечтающего, что его сделают гене-  
ралом за то, что Хлестаков женится на его до-  
чери... Мы взяли в пример немца; возьмите  
кого хотите другого, везде вы найдете более  
широкий размах воображения, более инициа-  
тивы в самых мечтах и планах, нежели у нас.  
Англичанин, например, вышед из школы и  
перестав мечтать о том, чтобы быть Чатамом,  
Веллингтоном или Байроном, начинает, по-  
ложим, строить планы обогащения{18}. Это,  
конечно, и у нас возбуждает мечты многих.  
Но какая же разница и в средствах и в разме-  
рах! Наши мечтатели о богатстве большею  
частью ухватываются за рутинные средства,  
берут то, что под рукою и что плохо лежит, и  
нередко останавливаются на достижении все-  
возможного комфорта. Между тем англича-  
нин в своих соображениях изобретет  
несколько машин, переедет несколько раз все

океаны, оснует несколько колоний, устроит несколько фабрик, сделает несколько громадных оборотов и затмит собою всех Ротшильдов... И что всего важнее, – он ведь пойдет исполнять свою задачу, и хоть половины не выполнит, но кое-чего все-таки достигнет... То же надо сказать и о французах: мы напрасно так уж наповал и осуждаем их, как пустозвонов. Нет, и они исполняют по временам задачи не маленькие, и во всяком случае размах у них шире нашего. Мы, вон, возимся над каким-нибудь энциклопедическим словарем, над какими-нибудь изменениями в паспортной или акцизной системе... А они – «составим, говорят, энциклопедию» – и составили, – не чета нашей. Так и во всем; «издадим, – говорят, – совсем новый кодекс» – и издали тотчас; «отменим то и другое в нашей жизни» – и отменили. Даже в нынешнем, опошленном и униженном французском обществе, все-таки, в строе разговора, в поведении каждого француза, вы замечаете еще довольно широкие замашки. Там вы слышите: при встрече с Ламорисьером{19}, я ему скажу, что он поступил бесчестно; в другом месте: у меня почти гото-

ва записка императору относительно его итальянской политики; в третьем: нет, я напишу Персиньи, что такие меры не годятся, – и пр., в таком роде{20}... Вы видите, что человек считает себя чем-то, дает себе труд судить и спорить, и никак не хочет безусловно повергаться в прах пред каждым словом хоть бы Moniteur'a{21}. Правда, что он ничего серьезного большею частью не делает; но по крайней мере духом не падает и не предается тому робкому, безнадежному чувству бессилия, при котором можно «обратить человека в грязную ветошку».

А почему у нас это «обращение в ветошку» так легко и удобно, – об этом проницательный читатель не ждет, конечно, от нас решительных объяснений: для них еще время не пришло. Приведем лишь несколько самых общих черт, на которые находим указания даже прямо в произведениях автора, по поводу которого нам представляются все эти вопросы.

Прежде всего, припомните, что говорит Макар Алексеич, когда избыток тоски вызывает из глубины души его несколько смелых суждений. «Знаю, что это грешно... Это воль-

нодумство... Грех мне в душу лезет...» Вы видите, что самая мысль его связана суеверным ужасом греха и преступления. И кто же из нас не знает происхождения этого суеверного страха? Какой отец, отпуская детей своих в школу, учил их надеяться только на себя и на свои способности и труды, ставить выше всего науку, искать только истинного знания и в нем только видеть свою опору и т. п.? Напротив, не говорили ли всякому из нас: «Старайся заслужить внимание начальства, будь смиреннее, исполняй беспрекословно, что тебе прикажут, не умничай. Ежели захочешь умничать, так и из правого выйдешь неправым: начальство не полюбит, – что тогда выйдет из тебя? Пропадешь»... В таких началах, в таких внушениях мы выросли. Нас с детства наши кровные родные старались приучить к мысли о нашем ничтожестве, о нашей полной зависимости от взгляда учителя, гувернера, и вообще всякого высшего по положению лица. Припомните, как часто случалось вам слышать от домашних: «Молодец, тебя учитель хвалит», или наоборот: «Скверный мальчишка, – начальство тобою недовольно», – и при

этом не принималось никаких объяснений и оправданий. А часто ли случалось вам слышать, чтобы вас похвалили за какой-нибудь самостоятельный поступок, чтоб сказали даже просто: «Молодец, ты вот это дело очень хорошо изучил и можешь его дальше пове- сти», или что-нибудь в этом роде?

Таким образом направленные с детства, как мы вступаем в действительную жизнь? Не говорю о богачах и баричах; до тех нам дела нет; мы говорим о бедном люде среднего класса. Некоторые и по окончании ученического периода не выходят из-под крыла родительского; за них просят, кланяются, подличают, велят и им кланяться и подличать, выхлопывают местечко, нередко теплое... Подобные птенцы имеют шансы дойти до степеней известных. Но огромное большинство бедняков, не имеющих ни кола ни двора, не знающих, куда приклонить голову, – что делает это большинство? По необходимости тоже подличает и кланяется, и выкланивает себе на первый раз возможность жить безбедно где-нибудь в углу на чердаке, тратя по двугривенному в день на свое пропитание, – да и это

еще по чьей-нибудь милости, потому что, собственно говоря, нужды в людях нигде у нас не чувствуется, да и сами эти люди не чувствуют, чтоб они были на что-нибудь нужны... Заметьте, что ведь у нас, если человек мало-мальски чему научился, то ему нет другого выхода, кроме как в чиновники. В последнее время всякий, обученный до степени кое-какого знания хотя одного иностранного языка, норовит сыскать себе средства к жизни посредством литературы; но литература наша тоже наводнена всякого рода претендентами и не может достаточно питать их. Поневоле опять обращается целая масса людей ежегодно к чиновнической деятельности и поневоле терпит все, сознавая свою ненужность и коренную бесполезность. Болезненное чувство господина Прохарчина, что вот он сегодня нужен, завтра нужен, а послезавтра может и ненужным сделаться, как и вся его канцелярия, — одно это чувство объясняет нам достаточную долю той покорности и кротости, с которою он переносит все обиды и все тяготы своей жизни.

Да и как же быть иначе? Где взять сил и

решимости для противодействия? Будь еще дело между личностями, один на один, – тогда бы, может быть, раздраженное человеческое чувство выказалось сильнее и решительнее; а ведь тут и личностей-то нет никаких, кроме неповинных, потому что не свою волю творят. Мы видели даже, что начальник Макара Алексеича, например, – благодетельное лицо, Юлиан Мастакович, – очень милый человек... Кто же теснит и давит Макара Алексеича? Обстоятельства! А что делать против обстоятельств, когда они сложились так прочно и неизменно, так неразлучны с нашим порядком, с нашей цивилизацией? Их громадность в состоянии подавить и не одного Макара Алексеича, который сознается: «Случается мне рано утром, на службу спеша, заглядеться на город, как он там пробуждается, встает, дымится, кипит, гремит, – тут иногда пред таким зрелищем так умалишься, что как будто бы щелчок какой получил от кого-нибудь по любопытному носу, да и поплетешься, тише воды, ниже травы, своею дорогою и рукой махнешь!...» Подобное же впечатление производят чудеса современной цивилизации, на-

громожденные в Петербурге, на Аркадия, друга Васи Шумкова. Но уж мы не станем его здесь выписывать...

Да, человек поглощается и уничтожается общим впечатлением того громадного механизма, которого он не в состоянии даже обнять своим рассудком. Подобно древнему язычнику, падавшему ниц перед неведомыми, грандиозными явлениями природы, падает нынешний смертный пред чудесами высшей цивилизации, которая хоть и тяжело отзывается на нем самом, но поражает его своими гигантскими размерами. Тут уже нет речи о борьбе, тут и для характеров более сильных возможно только бесплодное раздражение, желчные жалобы и отчаяние. Возьмите хоть опять последний роман г. Достоевского. Вот, например, сильный, горячий характер маленькой Нелли; но посмотрите, как она поставлена, и может ли ей в этой обстановке прийти хоть малейшая мысль о борьбе постоянной и правильной? Ее мать умерла, задолжав Бубновой; ее нечем похоронить; Нелли осталась беспомощна, беззащитна. Бубнова берет ее к себе и вступает, разумеется, над

нею во все права воспитательницы и госпожи. Ее бьют, мучат и тиранят всячески, – что же с этим делать? Бубнова – ее благодетельница, и не будь она, так другая на ее месте могла бы делать то же самое... Нелли даже злобно рада своим побоям: она считает их уплатою за кусок хлеба и за отрепье, какое дает ей Бубнова. Но ей тяжело другое: она видит, к чему ее готовит Бубнова, ей и обидно, и страшно, и горько... Но опять – что же она сделает? Ведь не зарезать же Бубнову! А убежать от нее – куда убежишь, чтобы не нашли? И вот она продана, и избавляется случайным образом, когда уже над нею готово совершиться мерзкое преступление... Затем – она знает, что она дочь, законная дочь князя. Но что же из этого? Нужны документы, у ней их нет; нужно быть юристом, чтобы затеять дело, да и то у князя есть деньги и связи, подействительнее всех юристов... Бедная Нелли хоть и попадает под конец к добрым людям, но ее постоянно возмущает чувство, что она живет у чужих людей, из милости...

Ну, да это, положим, ребенок. Возьмем из того же романа другое лицо – Ихменева. Это

характер крепкий, но крепкий не на борьбу, а на упорство в раздражении. Свой гнев, свою горечь он изливает то на безответную жену, то на дочь, которую страстно любит, но тем не менее проклинает несколько раз. Отчего он всю силу свою не употребит прямо, куда следует, – против своего обидчика – князя?.. Да он бы и желал этого более всего на свете, но в делах с князем надо соблюдать установленные церемонии и условия. Затеян процесс – ну, и идет он неспешно, годами, заведен по законному порядку. Порядок этот оказывается в пользу князя, – все в пользу князя, – сколько ни апеллируй – все в его пользу... Приходится платить, продавать с аукциона Ихменевку... Ведь знает и чувствует старик, что это несправедливо, оскорбительно, бессовестно; но как же это переделаешь? И в чем тут сила? Даже и не в князе; убей Ихменев князя, – а деревню его все-таки продадут... Да и убить-то князя нельзя: он так хорошо огражден! Ихменев возымел было это намерение, узнав, что князь сказал одному чиновнику, что «вследствие некоторых семейных обстоятельств», – хочет возвратить старику

штрафные с него 10 тысяч. Это значило назначать плату за бесчестье его дочери. Старик расхотелся и решил вызвать князя на дуэль. Вот рассказ Ивана Петровича об успехах его попытки.

*От меня он кинулся прямо к князю, не застал его дома и оставил ему записку: в записке он писал, что знает о словах его, сказанных чиновнику, что считает их себе смертельным оскорблением, а князя низким человеком, и вследствие всего этого вызывает его на дуэль, предупреждая при этом, чтобы князь не смел уклоняться от вызова, иначе будет обесчещен публично. Анна Андреевна рассказывала мне, что он воротился домой в таком волнении и расстройстве, что даже слез. С ней был очень нежен, но на расспросы ее отвечал мало, и видно было, что он чего-то ждал с лихорадочным нетерпением. На другое утро пришло по городской почте письмо; прочтя его, он вскрикнул и схватил себя за голову, Анна Андреевна обмерла от страха. Но он тотчас же схватил шляпу, палку и выбежал вон.*

Письмо было от князя. Сухо, коротко и вежливо он извещал Ихменева, что в словах своих, сказанных чиновнику, он никому не обязан никаким отчетом, что хотя он очень сожалеет Ихменева за проигранный процесс, но, при всем своем сожалении, никак не может найти справедливым, чтоб проигравший в тяжбе имел право, из мщениия, вызывать своего соперника на дуэль: что же касается до «публичного бесчестия», которым ему грозили, то князь просил Ихменева не беспокоиться об этом, потому что никакого публичного бесчестия не будет, да и быть не может, что письмо его немедленно будет представлено куда следует и что предупрежденная полиция наверно в состоянии принять надлежащие меры к обеспечению порядка и спокойствия.

Ихменев, с письмом в руке, тотчас же бросился к князю. Князя опять не было дома; но старик успел узнать от лакея, что князь теперь, верно, у графа N. Долго не думая, он побежал к графу. Графский швейцар остановил его, когда уже он подымался на лестницу.

Взбешенный до последней степени, старик ударил его палкой. Тотчас же его схватили, вытащили на крыльцо и передали полицейским, которые препроводили его в часть. Доложили графу. Когда случившийся тут князь объяснил честолюбивому старичку, что это тот самый Ихменев, отец той самой Натальи Николаевны (а князь не раз прислуживал графу по этим делам), то вельможный старичок только засмеялся и переменил гнев на милость; сделано было распоряжение отпустить Ихменева на все четыре стороны; но выпустили его только на третий день, причем (наверно, по распоряжению князя) объявили старику, что сам князь упросил графа его помиловать.

Старик воротился домой как безумный, бросился на постель и целый час лежал без движения, наконец приподнялся и, к ужасу Анны Андреевны, объявил торжественно, что навеки прокликает дочь и лишает ее своего родительского благословения.

Анна Андреевна пришла в ужас, но надо было помогать старику, и она, са-

*ма чуть по без памяти, весь этот день и почти всю ночь ухаживала за ним, примачивала ему голову уксусом, обкладывала льдом. С ним был жар и бред.*

Вот вам и все. Не в князе тут сила, а в том, что каков бы он ни был, он всегда огражден от всякой попытки Ихменевых и т. п. – своим экипажем, швейцаром, связями, наконец даже полицейским порядком, необходимым для охранения общественного спокойствия.

Так, стало быть, положение этих несчастных, забитых, униженных и оскорбленных людей совсем безвыходно? Только им и остается что молчать и терпеть, да, обратившись в грязную ветошку, хранить в самых дальних складках ее свои безответные чувства?

Не знаю, может быть, есть выход; но едва ли литература может указать его; во всяком случае, вы были бы наивны, читатель, если бы ожидали от меня подробных разъяснений по этому предмету. Пробовал я когда-то начинать подобные объяснения, но никогда не доходили они как следует до своего назначения. Теперь уж и писать не стану. Да и вообще –

неужели вы, читатель, до сих пор не заметили, что мы с нашею литературою все повторяем только зады? Произвела жизнь наша, много лет тому назад известный разряд личностей; лет двадцать тому назад художники их приметили и описали; теперь критике опять пришлось обратиться к разбору произведений одного из этих художников; вот она сгруппировала, с картин художника, несколько личностей, кое-что обобщила, сделала кое-какие выводы и замечания... И вот все, что покамест мы можем. Мы нашли, что забитых, униженных и оскорбленных личностей у нас много в среднем классе, что им тяжело и в нравственном, и в физическом смысле, что, несмотря на наружное примирение с своим положением, они чувствуют его горечь, готовы на раздражение и протест, жаждут выхода... Но тут и кончается предел наших наблюдений. Где этот выход, когда и как – это должна показать сама жизнь. Мы только стараемся идти за нею и представлять для людей, которые не любят или не умеют следить сами за ее явлениями, то или другое из общих положений действительности. Берите же, пожа-

луй, факт, намек или указание, сообщенное в печати, как материал для ваших соображений; но, главное, следите за непрерывным, стройным, могучим, ничем не одержимым течением жизни и будьте живы, а не мертвы. Со времени появления Макара Алексеича с братиею, жизнь уже сделала многое, только это многое еще не формулировано. Мы заметили, между прочим, общее стремление к восстановлению человеческого достоинства и полноправности во всех и каждом. Может быть, здесь уже и открывается выход из горького положения загнанных и забитых, конечно, не их собственными усилиями, но при помощи характеров, менее подвергшихся тяжести подобного положения, убивающего и гнетущего. И вот этим-то людям, имеющим в себе достаточную долю инициативы, полезно вникнуть в положение дела, полезно знать, что большая часть этих забитых, которых они считали, может быть, пропавшими и умершими нравственно, — все-таки крепко и глубоко, хотя и затаенно даже для себя самих, хранит в себе живую душу и вечное, неисторжимое никакими муками сознание и своего

человеческого права на жизнь и счастье.

# Примечания

**В**первые опубликовано, с многочисленными цензурными сокращениями и искажениями, в «Современнике», 1861, № IX, отд. III, стр. 99–149 с подписью: Н. – бов (на обложке: Н. А.-бов). Перепечатано в первом издании Сочинений Н. А. Добролюбова, т. III. СПб., 1862, стр. 533–585, с дополнениями и уточнениями по нецензурным типографским гранкам. Автограф статьи неизвестен. Печатается по изданию 1862 г., с учетом стилистической правки статьи в «Современнике».

Статья «Забитые люди», написанная Добролюбовым вскоре после возвращения из-за границы, является его последним программным литературно-критическим выступлением. Некоторые полемические страницы статьи имеют в виду не только романы Достоевского, но и его литературно-теоретический очерк «Г.-бов и вопрос об искусстве», опубликованный в февральском номере журнала «Время» за 1861 г. Дата цензурного разрешения корректурных гранок «Забитых людей» – 5 октября 1861 г.; что вызвало, видимо, за-

держку сентябрьского номера «Современника», вышедшего в свет лишь 8 октября 1861 г. (см. В. Э. Боград. Журнал «Современник», 1847–1866. Указатель содержания. М. – Л., 1959, стр. 402). Критический обзор материалов, относящихся к идейно-литературным взаимоотношениям Добролюбова и Достоевского, дан в статье: С. С. Деркач. Добролюбов и Достоевский: – «Н. А. Добролюбов – критик и историк русской литературы». Изд. Ленинградского университета, 1963, стр. 97–131. См. некоторые тонкие критические замечания на статью С. Деркача «Добролюбов и Достоевский» в рецензии Э. Полоцкой. – «Вопросы литературы», 1965, № 2, стр. 241–242.

# Сноски

## 1

Не говорю, чтоб художник задавал себе задачу, а чтоб у него отразилась, разрешилась она сама собою, хоть бы неведомо для него; а то опять скажут, что я навязываю художнику утилитарные темы.

[^^^]

## 2

детальный и обоснованный (*франц.*). – *Ред.*

[^^^]

### 3

ни то ни се (*франц.*). – *Ред.*

[^^^]

### 4

Такой именно отзыв был когда-то о г. Достоевском, и даже, если не ошибаюсь, в «Современнике»{22}.

[^^^]

### 5

независимо от опыта (*лат.*). – *Ред.*

[^^^]

навязчивая идея (франц.). – Ред.

[^^^]

[^^^]

# Комментарии

## 1

Добролюбов имеет в виду критику его статей в печатных выступлениях П. В. Анненкова, Ап. Григорьева, А. В. Дружинина, С. С. Дудышкина и некоторых других литераторов, враждебных «Современнику».

[^^^]

## 2

Цитата из статьи Белинского «Петербургский сборник», в котором были опубликованы «Бедные люди» Достоевского.

[^^^]

### 3

Достоевский был арестован в апреле 1849 г. за участие в нелегальном социалистическом кружке М. В. Петрашевского. Приговор к смертной казни заменен был четырехлетней каторгой, по окончании которой зачислен рядовым в войска Отдельного Сибирского корпуса. Разрешение жить в Петербурге получил в конце 1859 г.

[^^^]

### 4

С 1857 по 1861 г. Достоевский опубликовал «Маленького героя», «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково и его обитатели», «Униженные и оскорбленные».

[^^^]

## 5

Ссылка на «одного критика» имела в виду Ап. Григорьева.

[^^^]

## 6

Повести И. И. Шишкина и Е. П. Карновича печатались в «Современнике» и «Отечественных записках» пятидесятых годов.

[^^^]

## 7

Цитата из басни Крылова «Муравей».

[^^^]

## 8

Роман Н. Д. Ахшарумова «Чужое имя» печатался в «Русском вестнике» 1861 г., а роман А. А. Потехина «Бедные дворяне» в «Библиотеке для чтения» того же года.

[^^^]

## 9

Речь идет об исключительном успехе романа Эрнеста Фейдо «Фанни» (1859 г.).

[^^^]

## 10

Эта страница представляла собою ответ на статью Достоевского «Г. – бов и вопрос об искусстве», оставшуюся неназванной.

[^^^]

## 11

Добролюбов иронически дает в одном ряду статью А. Ф. Мерзлякова о «Россиаде» М. М. Хераскова (напечатанную в «Амфионе» 1815 г.) и статью В. П. Боткина «Стихотворения А. А. Фета» («Современник», 1857, № 1).

[^^^]

## 12

Намек на суждения П. В. Анненкова в «Заметках о русской литературе прошлого года» («Современник», 1849, № 1).

[^^^]

## 13

Комедия Н. М. Львова «Предубеждение, или не место красит человека, а человек место» (1858).

[^^^]

## 14

Цитата из оды Державина «К премудрой киргиз-кайсацкой царевне Фелице» (1782).

[^^^]

## 15

Цитата из «Мертвых душ» Гоголя.

[^^^]

## 16

Улисс – римский вариант имени Одиссея, героя поэм Гомера.

[^^^]

## 17

Линней, Карл (1707–1778) – шведский натуралист, установивший классификацию животных и растений по родам и видам.

[^^^]

## 18

Лорд Чатам – Питт Уильям старший (1708–1778), английский государственный деятель; Веллингтон, Артур Уэлсли (1769–1852), английский полководец.

[^^^]

## 19

Ламорисьер, Кристоф Леон (1806–1865) – французский военный министр после революции 1848 г.

[^^^]

## 20

Персиньи, Жан (1808–1872) – министр внутренних дел при Наполеоне III.

[^^^]

## 21

«Moniteur» («Монитер») – французская правительственная газета.

[^^^]

## 22

Добролюбов полемизирует с высказываниями А. В. Дружинина о Достоевском в «Современнике» 1849 г. Иронические строки его же о «письмах Ивана Александровича Чернокнижникова» (см. выше, стр. 328) имели в виду низкопробные фельетоны А. В. Дружинина «Сентиментальное путешествие Ивана Чернокнижникова по Петербургским дачам», печатавшиеся, без имени автора, в «Современнике» 1850 г.

[^^^]

[^^^]